

Алик Толчинский



ПЕРЕД  
ЗАХОДОМ СОЛНЦА





Алик Толчинский

ПЕРЕД  
ЗАХОДОМ СОЛНЦА



БОСТОН • 2019 • BOSTON

**Алик Толчинский** Перед заходом солнца. *Рассказы*

**Alik Tolchinsky** Before Sunset. *Short Stories*  
(Pered Zakhodom Solntsa. *Rasskazy*)

Публикуется в авторской редакции

Copyright © 2019 by Alik Tolchinsky

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1-950319022

Library of Congress Control Number: 2019903148

Published by M•GRAPHICS, BOSTON, MA

☐ [www.mgraphics-publishing.com](http://www.mgraphics-publishing.com)

✉ [info@mgraphics-publishing.com](mailto:info@mgraphics-publishing.com)  
[mgraphics.books@gmail.com](mailto:mgraphics.books@gmail.com)

Иллюстрации в тексте: А. Толчинский

На обложке: картина А. Толчинского «Ровесники»

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов русского языка **batov's hyphenator**<sup>™</sup> ([www.batov.ru](http://www.batov.ru))

Отпечатано в США

## Содержание

К читателю . . . . .	7
Тётя Леночка . . . . .	9
Тётя Нинеля . . . . .	25
Тётя Мара . . . . .	45
Настоящий друг . . . . .	74
Грех сочинительства . . . . .	93
Тётя Лиза . . . . .	125
Тётя Зина . . . . .	143
Беда приключилась . . . . .	163
Письмо . . . . .	194
О том, как мы сами создаём фетиш . . . . .	220



## К читателю

**АВТОР РЕШИЛ НАЗВАТЬ СВОЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ** «Перед заходом солнца», то есть так же, как Герхард Гауптман назвал свою пьесу, пользовавшуюся большой популярностью в Европе и в России. Мотив поздней любви живёт и в предлагаемых рассказах. Автор написал их с большим сочувствием к женской доле, потому что женщине до сих пор, несмотря на всеобщее улучшение жизни в цивилизованных странах, неизбежно предстоит тяжёлый период вынашивания, рождения и выращивания ребёнка. Несмотря на тяжесть материнского долга, бездетная женщина чаще всего чувствует себя неполноценной. На самом деле её судьба не так уж сильно отличается от той, кто посвятил себя воспитанию и развитию детей. Дети вырастут и разлетаются в разные стороны от домашнего очага. Бывает и очень часто, что они, повзрослев, ограничиваются формальными подарками, открытками и звонками вместо живого присутствия и заботы о той, кто дала им жизнь. При том, что наличие или отсутствие детей это сильнейший психологический фактор в жизни женщины, в плане обратной связи, то есть ответной заботы и любви к концу жизни они могут оказаться весьма и весьма слабыми.

Этот сборник написан старым человеком для пожилых или старых людей, которые, наверное, уже и книг не читают. Поэтому в авторских надеждах на отзывчивого читателя есть некая идеализация. Но как говорили в древности — *Dum spiro spero*. Пока дышу — надеюсь.

С другой стороны, всё-таки составление рассказов, попытки осмыслить прожитую жизнь есть процесс работы

мозга, и эта деятельность придаёт и смысл, и радость существования. А ведь многие вопросы жизни до сих пор не имеют единого толкования, не говоря уж о глобальных вопросах сосуществования добра и зла, которые были и будут формой единства и борьбы противоположностей всегда. Религия даёт нам упрощённые варианты решения жизненных коллизий, но даже верующий человек, если только он не фанатик веры, всегда оставляет для себя некоторое пространство свободы, за которое он согласен нести наказание в вечной жизни. Конечно же, здесь не обходится без малодушного упования на бесконечную милость Господа, но что же делать, если жизнь так прекрасна, а соблазны жизни так трудно побороть!

Поскольку герои рассказов в основном люди пожилые и старые, естественно, что многие из них уходят навсегда в конце повествования, но это ведь нормально и не нужно из закона природы делать трагедию. Один из остроумцев когда-то сказал: *Жизнь есть смертельное заболевание, передаваемое половым путём.* Но ведь это прекрасная болезнь! Высокая болезнь! Вот и Пастернак так считал...

Так будем же бодры и радостны сколь возможно долго.

*Автор*

## Тётя Леночка

**Почти триста дней в году Михаил Краснов** проходил мимо шестиэтажного здания по улице Гастелло, где на четвёртом этаже глаза привычно узнавали окна большой комнаты, где жили много лет тётя Варя и её дочь Леночка. О жизни тёти Вари мама рассказывала легенды. Она была подпольщицей, была схвачена белыми и приговорена к расстрелу. В то опасное время она была уже замужем за Эммануилом Вульфом (дядей Муней), который тоже скрывался и готовил вооружённое восстание в Одессе. Тётю Варю тогда белые пощаднили, поскольку она была на восьмом месяце беременности. Нашим, то есть красным, такой либерализм был чужд, наверное, потому, что большинство из наших были в ту пору неграмотными и озлобленными войной, голодом и отсутствием баб.

Так вот, тётя Варя разрешилась мёртвым ребёнком, а потом быстро пришла наша власть, вернулся дядя Муня и они вдвоём стали добивать остатки вражеских элементов в Одессе, которые не успели удрать за кордон. Как раз в это время умерла от тифа родная сестра тёти Вари, оставив миру хилую девчущку двух месяцев отроду. Тётя Варя удочерила её. Так образовалась обычная семья из трёх человек. Дядя Муня быстро стал чекистским начальником, так что в смысле поесть и одеться в экспроприированные у богачей наряды проблем не было. Что же касается жилья, то коммунальная квартира считалась образцом будущего коммунистического устройства общества. Чего нам — пролетариям и служащим скрывать друг от друга! Правда, великий пролетарский поэт предостерегал, что мы, мол, дорогие товарищи, нынче живём коммуной плотно, в общежитии грязнеет кожа тел...

Буржуазии это непонятно — как это мыться в бане один раз в две недели и ходить по пятьдесят человек на один унитаз, но, к примеру, медведь вообще не моется — а какой здоровый! Так шутил папа Миши Краснова в те уже недавние времена, когда их семья из трёх человек, наконец, переехала в однокомнатную квартиру с размером комнаты 15,88 метров, но с горячей водой, ванной и отдельной уборной. Папа наставлял Мишу, что пора ему привыкать часто мыться, чтобы от него не разлило потом и ещё кое-чем.

Так вот, партия и её верная дочь ЧК вскоре командировали дядю Муню в богатый город Баку для наведения там порядка. Надо сказать, что жили они там совсем неплохо. В отличие от грязной, немытой России, вечно страдающей от того, что земледельцы никак не могут приспособиться к капризам погоды — то великая сушь, то бесконечные дожди, на склонах Кавказского хребта в те времена паслись стада овец и коз, хотя обожаемая русскими свинина вообще отсутствовала. А в садах зрели, не зная о революции, красочные гранаты, мандарины, хурма, цвёл и плодоносил миндаль. Семья дяди Муни въехала в большую и хорошо обставленную комнату в доме бывшего купца и промышленника Нуралиева. Дочка Лена росла и расцветала, как пела в одной песенке Роза Бакланова, хорошая еда и ласковое тепло сделали своё дело. Девочка окрепла и к двенадцати годам догнала в росте своих подруг по школе.

И надо же такому случиться, что свирепый усатый таракан решил начать чистку преданных ему до самых кишок исполнителей-чекистов. Умные люди посоветовали дяде Муне оставить заметную должность в Баку и попроситься работать куда-либо подальше, где бы его организаторские таланты могли быть использованы для блага отечества. Дядя Муня тоже был умным и сделал правильный шаг. Уже через полгода он руководил большим коллективом чекистов в Бодайбо, за тысячу километров от Иркутска. Там к тому времени уже работало много тысяч заключённых, которые добывали столь необходимое для страны золото. Всё население вокруг

лагерей тоже понимало, что они живут на объекте оборонного масштаба, и всячески помогала заключённым выполнять и перевыполнять План.

Как писал Пушкин, государство богатеет, когда простой продукт имеет, но наше отечество, руководимое великими вождями, отбило навсегда охоту у населения производить простой продукт и потому непрерывно нуждалось в золоте, чтобы покупать шмотки и заводское оборудование и технологии у проклятых капиталистов. Поэтому люди, добывающие золото, были самыми нужными для власти и их освобождали от участия в бесконечных военных авантюрах и даже в разразившейся войне сорок первого года.

Дядя Муня всю войну помогал стране добывать золото руками эзков, число которых никогда не убывало. Тётя Варя работала в канцелярии местного отделения НКВД. Пайки были хорошими, тёплыми вещами тоже были обеспечены. Но вот, кончилась война, можно было приступить к мирному строительству и восстановлению порушенного хозяйства. А у Леночки ещё в школе открылись вокальные способности. Ну, не сидеть же всю жизнь в затерянном в просторах Сибири Бодайбо! И Леночка отправилась в Питер, где поступила в музыкальное училище на вокальное отделение.

Питерская родня с радостью приняла дочку Вари, а восьмилетний Миша просто смертельно влюбился в тётю Лену, в её светлые кудряшки и нежную бледность лица, в её тихий серебряный голосок. Дядя Муня через своих знакомых устроил Лену в хорошую большую комнату с другой девушкой, которая уже работала в Системе. Лена регулярно, пока училась, получала посылки и деньги из Бодайбо, так что ни в чём не нуждалась.

Поскольку дядя Муня был большим начальником, он на совещаниях с другими большими начальниками должен был пить много водки или коньяка, а чтобы при этом не пьянеть, нужно было есть много жирной пищи. Этот нездоровый образ жизни в комплексе с состоянием постоянного стресса от страха не исполнить вовремя очередной приказ сверху

привёл к тому, что однажды зимой 1950 года дядя Муня пересел из самолёта в ожидавшую его служебную машину в Бодайбо и только начал рассказывать о новостях из Москвы, как у него мгновенно остановилось сердце.

Маленький Миша запомнил, как дедушка писал письмо тёте Варе, как он с семьёй соболезнует по поводу утраты родного брата бабушки. Следует сказать, что еврейская часть семьи двадцать пять лет не видела брата Муню и общалась только с наезжавшей в Питер тётёй Варей. Это вполне понималось даже Мишиным папой, который был русским. Муня летал столь высоко, что семье и в голову не могло прийти, что он вдруг спустится с небес и заглянет в коммуналку, где шесть человек ютились в деревянном домике на площади в двадцать один метр. Да и что Муня мог для них сделать? Вылезти наверх с просьбой улучшить жилищные условия еврейской семье и тем самым засветиться? Антисемитизм после войны был просто ужасающим. Самой популярной мыслью, гуляющей среди нищего и разорённого русского народа, была мысль, что евреи всю войну за русскую ж... прятались, и их ненавидели даже больше, чем побитых немцев.

В сорок шестом, когда Леночка решила поступать в музыкальное училище, её родители уже чётко понимали, что надо взять прекрасную русскую фамилию тёти Вари — Соловьёва, чтобы легче было жить в дальнейшем. Она была принята на вокальное отделение, хотя будущий педагог Песцова отметила слабое развитие грудной клетки. Ну, мы знаем, что существует масса специальных дыхательных упражнений для разработки вокальных данных.

Сначала Лена довольно часто была у Красновых, а потом у неё завязался роман с одним ленинградцем, пережившим блокаду. Он был старше её на десять лет, но не подлежал призыву по инвалидности — в детстве он перенёс полиомиелит. Родители его погибли, но мать, которая умела предвидеть худшее, в самом начале войны засушила гору чёрных сухарей и накупила на все оставшиеся деньги сухофруктов. Это

и спасло жизнь сыну. Все соседи перемерли от холода и голода. Главное, что в сорок седьмом этот парень обладал неслышанным богатством — он жил один в двухкомнатной квартире. Лена ведь не могла привести его в свою комнату, которую она делила с подругой из органов.

Узнав об увлечении тёти Лены, Миша ужасно переживал. Ведь он дал себе слово жениться на тёте Лене, когда вырастет. Он часто мечтал, что станет инженером, как папа, у него будет большая-пребольшая комната с интересными книгами в застеклённом шкафу, а на круглом столе всегда будет стоять тарелка с яблоками. И вот, он будет приходить усталый с работы, кушать любимые котлеты, а потом тётя Лена будет петь, а он будет сидеть на диване и слушать, закрыв глаза.

Когда Мише исполнилось девять лет, родители подарили ему замечательный конструктор — два телефона, связанные проводом длиной метров десять. И вот, Миша собрал эти телефоны, проверил и вечером, когда папа и мама пришли с работы и поели, Миша послал их на лестничную клетку, чтобы поговорить. И вдруг по телефону зазвучал серебряный голос тёти Леночки! Миша был в восторге.

— Тётя Лена! — закричал он в трубку, — как ты догадалась прийти прямо сейчас?

Но оказалось, что это была вовсе не тётя Леночка, а соседка по лестничной клетке, тётя Галя. От чувства разочарования Миша совсем забыл о конструкторе, а дня через два стал доискиваться, как он работает, и от этого вскоре что-то там повредилось внутри, трубки перестали передавать разговор, и единственной работающей частью остался моторчик, который неустанно крутился, когда его подключали к батарее.

Как ни ценились жилищные условия в послевоенном Ленинграде, Лена устала от несносного характера своего друга и спустя год вернулась в свою комнату, благо соседка получила назначение в Москву. Тут как раз тётя Варя вышла на пенсию, собрала барахлишко и даже кое-какие золотые вещички и перебралась доживать свой век у дочери. Перед приездом матери Лена навещала её в Бодайбо, они обсудили

свою дальнейшую жизнь, потом Лена собрала меховые вещи, довоенный серебряный сервиз и отбыла с двумя тяжёлыми кожаными чемоданами в Питер. Домой она возвращалась в купированном вагоне, потому что боялась, что в общем вагоне её обворуют, и там, в купе познакомилась с подполковником Василием Фёдоровичем Малышевым. Тот влюбился с первого взгляда в её золотистые кудряшки и совершенно позабыл, что у него есть законная жена и два сына на Дальнем Востоке. Доехали до Ленинграда, обменялись адресами и Лена поехала в свою комнату ждать своего покойного принца. Принц Малышев был человек жёсткого характера, всю войну провёл на Дальнем Востоке, участвовал в сражениях, но из-за его несговорчивости был нелюбим начальством, вследствие чего его поторопились выпроводить на пенсию, не добавив звания до полного полковника. Благо, он был связистом, то есть имел хорошую техническую подготовку. Поэтому, устроив свои дела с бывшей женой, он приехал в Питер и быстренько вступил в брак с Леночкой. Как в том теремке из сказки Маршака, тётя Варя подвинулась, и они стали жить втроём. У тёти Вари были льготы в связи с участием в гражданской войне и огромным партийным стажем, но этих льгот всё же не доставало для получения отдельной комнаты. Что касается денег, то их в семье хватало. Малышев без работы не сидел и через месяц уже работал на оборонном предприятии.

Семейные отношения были сложными из-за властного характера тёти Вари. Она, разумеется, не одобряла этот *неравный* брак. Малышев был старше Лены на пятнадцать лет, и тётя Варя в минуты недовольства зятем приговаривала, что, мол, ещё малость и он мог бы свататься к ней самой. Обстановка разряжалась на весенне-осенний сезон, когда тётя Варя уезжала в Одессу к сёстрам и брату дяди Муни. В эти полгода молодая пара блаженствовала в своей малонаселённой коммунальной квартире. Друзей Малышев не завёл, так что в основном сидели дома, изредка ходили в кино. Лена часто слушала музыку, а Малышев честно признавался, что

ничего в ней не смыслит и предпочитал военные мемуары. Однажды созвонились с Красновыми, napросились в гости. Четырнадцатилетний Миша, узнав, что в воскресенье придёт тётя Лена, всё мечтал послушать, как она поёт. Гости пришли. Мама отметила про себя, что Леночка прямо-таки расцвела. Обычно бледное личико её с розоватыми детскими губами очень похорошело, появилась некоторая округлость вокруг остреньких локотков и даже появился намёк на грудь. Папа с Василием Фёдоровичем стали распивать бутылку грузинского коньяка, обсуждая технические проблемы, никто никуда не торопился, кроме изнывающего Миши, который слышал крики товарищей во дворе, гоняющих мяч. А тётя Лена всё не пела и, казалось, не собиралась петь. В конце концов, Миша не выдержал и слинял из-за стола. Когда Миша, потный и возбуждённый вернулся домой, оказалось, что тётя Лена только что спела его любимую арию Сильвы и сидела раскрасневшаяся и счастливая, потому что мужчины с чувством поцеловали её руку.

— Тётя Лена, а когда ты будешь выступать в театре? — спросил Миша.

— Скоро, скоро, — ответил Василий Фёдорович, опережая Лену. — Мы тут поинтересовались, сколько можно заработать в филармонии, — продолжал он, — так это просто кошкины слёзы. И притом надо ещё ждать своей очереди, чтобы хоть куда-нибудь приткнуться. А рабочий коллектив, который они собирают для концертов, это просто юмор — там и фокусники, и чтецы, и гимнасты, и даже дрессировщики с собачками. Нет уж, пусть лучше пока посидит дома, а там я её пристрою к себе на предприятие.

Лена не протестовала. Она в глубине души давно поняла, что её путь в искусстве никогда не состоится просто потому, что ей не хватало энергии. Она относилась к мужу с почти религиозным обожанием и была ему бесконечно благодарна, что он вывел её из-под властной руки стареющей матери. Себе самой она казалась рябиной, которой удалось перебраться к дубу и прижаться к нему тонкими ветвями.

Приготовление еды для любимого и забота об его гардеробе представлялись ей самым важным делом в жизни. Малышеву казалось чудом, что за истекшие десять лет жизни они ни разу не поссорились и даже не обменялись резким словом, учитывая сложность обстановки, которая всегда возникала, когда тётя Варя возвращалась из Одессы.

Между тем годы шли, Миша познакомился в Эрмитаже с прелестной блондинкой из Москвы, влюбился в неё с первого взгляда и вскоре уехал к ней жить. Там он устроился в строительное управление, благодаря чему через два года молодые получили двухкомнатную квартиру в пятиэтажке в районе Измайлова. Папа по этому поводу сказал за праздничным столом, что Хрущев очень поспособствовал развитию свободомыслия в СССР. На вопрос, как решение квартирного вопроса связано со свободомыслием, он ответил:

— В коммунальной квартире каждый жилец ощущает своего соседа, как потенциального врага, который в любой момент способен написать донос в КГБ. Поэтому каждый жилец знает, что рот надо держать на замке, даже закрывшись дверью своей комнаты, поскольку сосед может подслушивать или даже подглядывать через замочную скважину. А в отдельной квартире ты можешь спокойно обсуждать любые политические новости с приглашёнными друзьями, критикуя действия правительства и партии.

Во время командировок в Питер, Миша обязательно навещал тётю Лену и если позволяли обстоятельства, останавливался у них на ночлег. Особенно ему было хорошо, когда Василий Федорович уезжал по долгу службы в подшефные заводы. Не то, чтобы он его не любил, а просто как бы побаивался его жёсткого командирского взгляда и резких безапелляционных суждений. С тётей Варей всегда обсуждался один и тот же вопрос — почему, несмотря на все её заслуги перед партией, ей не дают пусть маленькую, но отдельную квартиру. Вот, только на словах почитают участников гражданской войны, а на деле — шиш с маслом! Сколько раз она посылала документы и жаловалась на здоровье — всегда отказ. У вас,

мол, большая площадь в хорошем доме — двадцать четыре метра на троих.

В этот раз тётя Лена очень беспокоилась за мужа. Он получил телеграмму, что старший сын Володя связался с плохой компанией и ему грозит тюремный срок. Малышев взял на работе отпуск за свой счёт и отправился в Хабаровск. Тётя Варя по этому поводу лишь поджимала губы или говорила о безотцовщине, которая и приводит к дурным последствиям.

В один из командировочных дней Миша встретился с друзьями-сокурсниками и они нарезались от души. Он заявился к любимой тёте с одним из них в третьем часу ночи и всё пытался объяснить, что их не пустили в метро, а такси не ходит и всё, нет такси! Понимаешь, тётя Леночка?! Лена по-доброму смеялась, слушая пьяную болтовню племянника, постелила обоим мальчишкам на полу и погасила свет. Под их пьяное посапывание она сама задремала, а потом разоспалась и проснулась поздно. Тётя Варя уже давно хозяйничала на кухне. Мишин друг глянул на часы, охнул и помчался на работу, а Миша, как ни в чем не бывало, пошёл помогать тёте Лене варить кофе. Там, на кухне он исполнил в полный голос куплеты Мефистофеля, чем привёл её в полный восторг:

— Слушай, Мишенька, да у тебя первоклассный баритон! Поступай на вечернее отделение в Гнесинское.

Тут на Мишино пение выползла из соседской комнаты пятилетняя девочка и стала развлекать Лену своими домашними историями, пока из-за двери не послышался строгий голос матери:

— Таня иди *хобэдать!*

Таня повиновалась, повторяя:

— *Скільки можно хобэдать? Тилькы что хобэдалы!*

Тётя Лена залилась от души своим серебряным смехом. Миша не утерпел и сказал:

— Мне бы хоть раз в неделю послушать, как ты смеёшься!

Тётя Лена вздохнула и ответила:

— А тебе спасибо, что ты нас не забываешь. Я до сих пор помню, как ты обещал на мне жениться, да вот нашлась наша разлучница, твоя жена и увлекла в Москву.

Она опять засмеялась, словно серебряный колокольчик прозвенел.

Прошло, наверное, не менее года. Однажды вечером мама позвонила в Москву и сказала Мише:

— Сын, у Малышевых большое несчастье. Василий Федорович скоропостижно скончался от инфаркта. Надо приехать на похороны.

Конечно надо. Он представил худенькую фигурку тёти Лены, такую незащищённую, одинокую на житейском ветру. Вот, рухнул коренастый дуб, за который она держалась, обнимая его своими тонкими и нежными руками-ветвями. Как теперь жить дальше? Миша отпросился у начальства на три дня и уехал в ночь на «Красной Стреле», прихватив тайные деньги, накопившиеся от разовых премий, на случай разных нелегальных развлечений с друзьями и коллегами. Ранним утром он уже был у родителей. Мама поила его крепким кофе и медленно пересказывала ужасную трагедию. После возвращения из Хабаровска Малышев очень долго находился в мрачном настроении, переживал за сына, которому впаяли два года колонии. Сидя за столом, он часто морщился от неприятных ощущений за грудиной. Лена всё уговаривала его пойти к врачу, он кивал

— Да-да, пойду на следующей неделе, сейчас очень много дел на работе.

И вот, в воскресенье они решили пойти в кино. В кинотеатрах шёл «Гамлет» со Смоктуновским в главной роли. Лена заметила, что муж как-то беспокойно сидит рядом с ней, всё вздыхает, даже тайком взял таблетку валидола. Потом минут за двадцать до окончания фильма он сказал, что надо бы пойти домой и прилечь. Лена тут же поднялась, и они вышли на улицу. Время было позднее, ждать трамвая Малышев не хотел, а такси всегда отсутствует, когда оно крайне необходимо. Видимо, боль в сердце была настолько велика, что он

не мог стоять спокойно и понёсся домой, Лена едва за ним поспевала, приговаривая:

— Васенька, что с тобой, почему ты так спешишь?

Он не отвечал и почти вбежал в подъезд. Тут силы оставили его. Лена поднялась домой и вызвала неотложку и просила-умоляла приехать как можно быстрее. Потом она схватила пузырёк валерианки с ландышем (других сердечных средств они не держали) и убежала вниз к мужу. Он уже был без сознания. Приехавшие через полчаса врачи неотложки тут же на лестнице сняли ЭКГ, зафиксировали классический инфаркт миокарда, погрузили Малышева на носилки и повезли в больницу. Однако не довезли. Он скончался по дороге. Лена возвращалась из больницы пешком. Она находилась в странном состоянии, ничего не замечала и не слышала вокруг, поднялась на свой четвёртый этаж, опустилась на свою вдовью лежанку и застыла.

Тётя Варя давно спокойно храпела, но звук скрипнувшей мебели пробудил её. Тяжёлое, рыхлое тело старухи за семьдесят пять в несвежем ночном одеянии возникло над Леной.

— Что ж ты улеглась в постель в одежде и где Вася? — спросила она.

Лена лежала, стиснув зубы, и не отвечала.

— Эх, молодые, — бормотала тётя Варя, укладываясь в свою кровать, — воспитывали вас, хотели вырастить культурными людьми...

Проводить Малышева собралось человек пятнадцать. Миша стоял рядом с тётей Леной. Она была совершенно бесчувственной, словно её вытащили из холодильной камеры. Он дотронулся до её рук — ледышки. Пока сыпали землю на крышку гроба, она так и стояла, глядя безжизненными глазами в одну точку. Мама повела её и тётю Варю к себе домой, что-то приговаривая, пытаясь утешить. Миша торопился обратно в Москву, подошёл к тёте Лене, обнял, прижал к себе, поцеловал в лоб. Потом вздохнул и с тоской сказал:

— Делать нечего, мне надо ехать на работу, я позвоню.

Время тянулось невыносимо медленно, как в зале ожидания опаздывающего поезда. Лена ходила в ту же проходную пять раз в неделю и с тоской думала о предстоящих выходных. Ничего, кроме поездки на могилу Васи, не предвиделось. Тётя Варя стала совсем плохой, её одолевала астма. Это усиливало тревогу Лены, она боялась потерять последнего близкого человека. Однажды ей пришло в голову, что надо поступить на курсы медсестёр и тогда она сможет более эффективно помогать матери. Так она и сделала. На фоне восемнадцатилетних девчонок она выглядела старухой, и в начале сокурсницы её чуждались, но потом привыкли к ней и доброжелательно общались и когда через год она вместе с группой сфотографировалась на прощанье, на фото она выглядела в белой шапочке и халатике ничуть не хуже остальных. Обучение, трехмесячная практика, придали смысл дальнейшему существованию. Она получила направление на работу в поликлинику, где её прикрепили к отоларингологу, женщине постарше её лет на десять. У той был большой врачебный и жизненный опыт, который она щедро передавала Лене. В молодости, когда она работала педиатром, она как раз занималась астматическими проблемами у детей, так что многое из её опыта помогло Лене при уходе за матерью.

Однажды Лене позвонил один парень с бывшей работы. Звали его Жора. Был он черноволос, плотного сложения, работал в соседнем отделе. Лена частенько видела его на лестничной площадке, где, как правило, кучковались курящие мужчины. Вася их недолюбливал, не скрываясь, называл узаконенными бездельниками. Они это знали, но враждебных чувств в Малышеву не питали, только посмеивались. Зарплаты и премии они получали наравне с некурящими.

Жора довольно косноязычно объяснил, что у него недавно умерла мама, а семьи он не завёл и сейчас очень одинок. Пьянствовать с приятелями он никогда не любил, даже курить бросил два года назад. В общем, может быть, Лена согласится пойти с ним в кино... Во время киносеанса он стыдливо достал конфету «Мишка на Севере» и предложил Лене.

Конфета была тёплая. Видно, он долго держал её в руке. Лена улыбнулась впервые за последние несколько лет. Жора ей напомнил большого чёрного плюшевого мишку, с которым она играла в детстве. Они стали встречаться по выходным, гуляли в Летнем саду, выходили к Петропавловке. Жора был неразговорчив и очень стеснителен. К тому же он был чертовски беден и плохо образован. Однако Лена постепенно привыкала к нему. Заводит же человек собаку или кошку и любит их, заботится, кормит...

Между тем тёте Варе становилось всё хуже. В одну из сырых и ветреных ноябрьских ночей у неё начался такой сильный приступ астмы, что её увезли на скорой, но пока в больнице бегали за дежурным врачом и оформляли бумаги, она скончалась от удушья в ужасных мучениях. Лена позвонила Красновым, бесцветным голосом сообщила о последней потере. Мишины родители тут же приехали, помогли устроить похороны, даже взяли на себя часть расходов. Миша узнал о случившемся, когда вернулся из командировки в Свердловск, позвонил, утешал, обещал навестить, но замотался и заехал в Питер только через полгода.

Так уж получилось, что командировка в Питер почти всегда заканчивалась встречей друзей со студенческой скамьи. Пацаны, которые уже разменяли четвёртый десяток, очень ценили эти встречи-мальчишники, когда можно было расслабиться и поговорить обо всём откровенно. Они уходили в одиннадцать из ресторана и отправлялись к кому-нибудь из присутствующих домой попить чаю или кофе и договорить, доспорить, чтобы потом долго вспоминать с удовольствием последнюю встречу. Миша по устоявшейся привычке в первом часу ночи позвонил тёте Лене и сказал, что мечтает её повидать перед отъездом. Как он и ожидал, Лена сказала: «Конечно приходи, Мишенька». Приятель довёз его за пятнадцать минут до улицы Гастелло.

Миша вошёл к тёте Лене и с неудовольствием увидел, что она не одна. У стола сидел толстый, молчаливый, похожий на тюленя Жора. На его фоне тётя Лена выглядела ещё тоньше

и светлее. На столе стояла початая бутылка вина и немудрёная закуска. Хотя Миша был только что из-за стола, этикет понуждал принять участие в поздней трапезе. Разговор вертелся вокруг пустяков, потом тётя Лена представила несколько забавных сценок с пациентами, которых лечили от хронического насморка. Миша слышал её слабый голосок с лёгким серебристым смехом и не мог наслушаться. Если бы не Жора, он сказал бы: «Дорогая тётя Леночка, как бы я хотел жениться на тебе и жить с тобой в согласии и счастье до ста лет!» Эту фразу он всегда повторял, когда ночевал у неё ещё при тёте Варе. А тётя Леночка тихо смеялась и зажмуривала глаза. А сейчас, в третьем часу ночи Лена ему постелила за платяным шкафом, играющем роль перегородки, поцеловала в лоб и ушла к своему мужчине. Засыпая, Миша слышал тихую возню, которую никак нельзя спутать ни с какой другой — мужчина Жора исполнял свой мужской долг.

Воскресное утро было солнечным и ветреным. Миша уговорил тётю Лену прогуляться по парку «Победы». Они медленно шли и щурились от ярких солнечных лучей, отражавшихся от ребристой поверхности воды в лужицах. Рука тёти Лены лежала на сгибе его локтя такая лёгкая, словно перо большой чайки. Миша с тревогой поглядывал на её лицо. Ему казалось, что она похудела и ослабела за время, пока они не виделись. Говорят, что организм формируется в первые годы жизни, а для тёти Лены, наверное, это были очень скудные годы. Чтобы отвлечься от чувства тревоги, он купил несколько букетиков ландышей и вручил их своей прекрасной тёте.

— Мишенька, ты настоящий кавалер, — сказала она, — я подумаю, и, может быть, дам согласие выйти за тебя замуж.

Они посмеялись.

— Когда ты уезжаешь в Москву? Сегодня? Пообедаем вместе?

— Нет, тётя Леночка. Осталась деловая встреча, которую я не могу пропустить.

Он проводил её до дверей квартиры и обнял, а она опять поцеловала его в лоб, как в детстве.

Жизнь Миши, которая шла почти по кругу, так что можно было предвидеть с точностью до месяца, что должно произойти, вдруг дала сбой. Тихая, размеренная супружеская жизнь полетела ко всем чертям после того, как его жена съездила в дом отдыха в Геленджике. Выяснилось, что она и не представляла, что такое настоящий мужчина, и теперь, обогащённая новым жизненным опытом, она решила, что дальше жить с Мишей она не будет. После короткого и жёсткого разговора Миша собрал два чемодана личных вещей, а утром пошёл на службу и упросил начальника отдела подписать заявление об уходе в связи с семейными обстоятельствами. Ещё пару дней он провёл, подписывая «бегунок» и сдавая свои не шибко важные дела. К счастью, детей они не завели, так что будущее было светло и прекрасно, жаль только, что совсем незаметно пролетело одиннадцать лет. Все эти годы он скучал по Питеру, по своим друзьям-однокашникам. Странное и смешное слово, а ещё смешнее придумалось — однокашники, потому что вместе ходили в одну уборную и на целине, и на военных сборах, и в институте.

Миша поселился у родителей и стал интенсивно искать работу. Накоплений у него не было никаких. На сберкнижке, которую они вели с женой, накопилось рублей пятьсот, но у него не было и мысли делить их с бывшей женой. Они договорились, что в день суда он подъедет в Москву. Родители жадно расспрашивали его каждый вечер, как продвигается трудоустройство, и это начало его раздражать. Однажды в воскресенье, распив с папой четвертинку, Миша сказал:

— Я собрался жениться на тёте Лене, но она пока об этом не догадывается, а ты, мама, не вздумай её предупреждать!

Миша ожидал, что родители подхватят идею, чтобы посмеяться, но мама вдруг посуровела и сказала:

— Какой же ты ещё ребёнок! Мужу тридцать четыре года, а он такой же глупый, как двадцать лет назад! Лена старше тебя на четырнадцать лет, но дело не в этом. Не хотела тебе говорить, но знай, что она ужасно больна. Ужасно. Полгода назад у неё начал сильно расти живот, и я направила её на

обследование. Оказалось, что у неё запущенный рак яичников. Сейчас она вся высохла, периодически ей удаляют скапливающуюся жидкость, но процесс разрушения организма идёт полным ходом, а химиотерапия совершенно не помогает. Скоро мы её потеряем. Она всё понимает и потому решила оформить брак с Жорой, чтобы квартира и все ценности остались ему. Он очень хорошо ухаживает за ней.

Миша сидел совершенно пришибленный, хмель улетучился в один миг. Если бы не родители, он расплакался бы, как мальчишка. Сейчас он искренне верил, что устроившись на работу, он купил бы огромный букет и пошёл бы к тётке Лене с предложением руки и сердца. В голове стучала молотком мысль — как это возможно, чтобы такая нежная, красивая и любимая женщина должна была умереть, не дожив до пятидесяти лет! Как это допускает господь-бог?

На кладбище под серым ноябрьским небом собрались немногие, кто знал Лену — несколько человек с бывшей работы, ещё несколько с поликлиники. Жора стоял среди них, выделяясь грузным своим телом и бессмысленным выражением глаз под мохнатыми чёрными бровями. Всей родни было только трое — Мишина семья. Они возвращались домой под пронизывающим и шквалистым ветром с мелким дождём. По пути им всё время попадались сломанные чёрные зонты. Ветер прижимал их к стенам домов и садовым решёткам, топил в лужах. Своими вывернутыми спицами они чем-то напоминали больших искалеченных птиц со сломанными крыльями.

## Тётя Нинеля

**Вообще-то она терпеть не могла, когда** дети знакомых называли её тётя Нинеля или тётя Неля.

— Меня зовут Нинель Ильинична, — отчеканивала она.

На самом деле, по паспорту она была записана как Нинель Иудовна, но можете ли вы себе представить учительницу русского языка и литературы с таким ужасным отчеством в школе начала пятидесятых годов! А то, что родители звали дочку *Нинеля*, то это было вполне в духе эпохи — это же палиндром фамилии лениН. Муж ближайшей подруги Белки, которого все звали Лёдик, даже сочинил стишок:

*Нинел, ты Ленин наоборот!  
За то тебя любит советский народ,  
Что ты коммунизма достойный кирпич!  
Ильинична! — Брат твой Римидалв Ильич!*

Но всё это было значительно позже сложившейся, как казалось, навсегда дружбы одинокой училки тридцать первого года рождения и молодой пары, женская половина которой преподавала химию и биологию в той же средней школе Первомайского района.

Нинель, между прочим, происходила из семьи еврейского писателя Иоффе, который писал на идише и состоял в союзе писателей. Ещё он был отцом двух девочек, с которыми в августе сорок первого года был эвакуирован в Удмуртию. Там он заболел сыпным тифом и помер, жена пережила его на год, и девочек определили в пансионат для детей писателей в одной из среднеазиатских республик. Там Нинель получила аттестат об окончании школы и отправилась за высшим

образованием в Москву. Надо сказать, что в 1948 году евреев ещё брали в педагогические ВУЗы, особенно на отделение русского языка и литературы. Ну кто же ещё может знать в совершенстве государственный язык — только еврейские девушки и юноши, которые без дураков читали и отлично помнили всю русскую классику.

Девчонки со всех концов огромной страны поселились в общежитие по восемь в каждой комнате, все были ужасающе бедны, но смешливы, голосисты и полны до макушек ожиданием счастья. Кому-то родители изредка посылали гостинцы, а кто-то, вроде Нинели мог рассчитывать только на стипендию. Быстро все перезнакомились, жили открыто, общим котлом. Тамарка, одна из подружек, приехала с Алтая и никогда не видела живых евреев и вдруг обнаружила в случайном разговоре, что Нинелька и Сонька — еврейки! В восхищённом удивлении она упала на кровать и задрывала ногами. В письме домой она поделилась этой новостью с мамой, которая предупредила Тамарку, чтобы она с еврейками была очень осторожна и что от этого народа добра не жди.

Родная сестра Муся как раз вышла замуж за простого русского человека, который не побрезговал древней как мир нацией. Они поселились в родительской комнате в Москве, куда прописали и Нинель, но к этому времени пришло распределение на работу и Нинели выпало ехать в Молдавию преподавать русский язык и литературу в Кишинёве. Она там задержалась на четыре года, обучая молодых и пожилых, одновременно осваивая элементы молдавского языка.

Спустя год после их знакомства, Лёдик узнал, что молдаване всем существительным пришивают окончание *луй*: *папулуй*, *мамулуй*, *коммунизмулуй* и так далее. В классе вечерней школы у неё был пожилой партийный молдаванин Михай, который ходил в кожаном пиджаке и с кожаным же портфелем. Он приходил и сидел молча среди рабочей молодёжи, исправно писал в тетрасточке задания, которые потом пестрели поправками красным карандашом. Нинель говорила,

что почти все красные карандаши уходили на поправки в тетради Михая. Однажды ученики писали сочинение по рассказу писателя Толстого. Там был эпизод, когда обезьянка сорвала с головы мальчика, сына капитана корабля, фуражку и умчалась в ней на мачту, и как мальчик полез за фуражкой, а капитан молча переживал, как бы его сын не сорвался и не разбился. За отведённый час Михай написал на листе лишь одну фразу:

— *Абезьян поставил шляпу на голову.*

Кишинёв, спустя пять лет после окончания войны, был тихим городом с очень дешёвой и обильной едой, так что даже нищенской зарплаты учителя Нинели вполне хватало. А не хватало духовного общения. Она часто вспоминала Пушкинское:

*Но в Кишинёве, знаешь сам,  
Нельзя найти ни милых дам,  
Ни сводни, ни книгопродавца...*

Но прошло четыре года, и она смогла в соответствии с законом вернуться в Москву к сестре. Как она выглядела в двадцать семь лет? Круглое, как тарелка, смуглое лицо с тяжёлыми веками, напоминающее металлическое изображение солнечной богини хеттов Вурунсему. Носик пуговкой точно по центру, жидкие прямые волосики, которые она стригла довольно коротко, тощий задик, тонкие ручки и намечавшийся лягушачий животик. Голос у неё был низкий и напоминал хрипlostью саксофон, в который вставили сурдину. Претендентов на такой товар не было, так что приходилось рассчитывать только на себя.

А что делают бедняки и бедняжки в таких ситуациях? — помогают друг другу по мере возможностей, стараются веселить друг друга и приглашают в гости. А причин для веселья в школе хоть отбавляй. Каждую неделю ученики выдают такие литературные перлы, что можно посылать в раздел *«Нарочно не придумаешь»* журнала «Крокодил».

Учеников своих Нинель не любила, особенно пяти-шести-классников. А за что их любить? — Злые, жестокие к слабым, немытые и потому дурно пахнущие, всё ломалось в их руках, портилось. Этих зверёнышей она пыталась обучить грамотному письму. Глаголы на *-ить* и четыре глагола на *-ать* относятся ко второму спряжению, запомните их как кроликов по цвету хвостиков. Наверное, у неё был сильный характер, потому что на её уроках было тихо, она пресекала всякую разболтанность на корню. В выпускных классах она заставляла жеребцов и кобыл пересказывать «Войну и мир» по главам и только после этого назначала сочинение. Её не любили, но подчинялись, побаивались её острого, безжалостного языка. Ну кто же захочет в присутствии товарищей быть униженным, хотя бы и по делу. Многим она привила отвращение к классике, хотя её задачей было привить любовь. Один из них, Андрей Кольцов, сказал ей в конце урока:

— У м-моего отца д-два шкафа забиты к-книгами. Откроешь шкаф — так к-к-классики прямо с-сыплются с полок.

Он, конечно, хотел отомстить Нинели. Однажды в сочинении он решил блеснуть знанием Пушкина и привёл:

— *Черногорцы что такое? — Бонапарте спросил.* А черногорцы — самый свободолюбивый народ в мире. Партизаны освободили свою страну от фашистов в 1945 году и до сих пор руководят страной по приказу маршала Тито.

Нинель прочла этот перл перед классом, отчего друзья-товарищи полезли под парты от хохота, а Кольцов озлобился до ненависти и надолго.

Жить у сестры, которая уже завела двух девчонок, было очень трудно. Нинель привыкла сидеть до закрытия школы почти каждый день с проверкой домашних заданий, лишь бы не мешать родне. Надо было срочно решать вопрос с жильём. Она пошла в секретариат союза писателей и попросила выдать ей справку, что отец её был советским писателем, и дать бумажку с ходатайством о разрешении вступить в жилищный кооператив. Это было время первых кооперативов, и сумма первого взноса многим казалась

заоблачной. Нинель не потянула бы эту плату, если бы не старшая двоюродная сестра Рая. Она была бездетной и незамужней и главное — она была старшим научным сотрудником и кандидатом наук и получала зарплату триста рублей, которую почти не тратила в силу своей одержимости наукой и отсутствия потребности к развлечениям. Рая согласилась одолжить сестре две с половиной тысячи сроком на пять лет, и Нинель стала через год владельцем собственной однокомнатной квартиры с огромным балконом. С расстояния двухсот метров она могла созерцать дом, в котором жил известный всем писатель Константин Симонов. И вообще в микрорайоне создалась невиданно высокая концентрация писателей. Публика эта была мирной и мало пьющей, пролетарии и колхозники в их тихие дворы не заходили. Оставалось только жить да радоваться, да зарабатывать, чтобы выплатить долг сестре Рае.

Нинель прилепилась к Белке и её мужу Лёдику, так уж получилось. Белка не тянула полторы ставки, потому что они жили при её родителях, а Нинели надо было отдавать долги. Но что делать одинокой и некрасивой женщине в выходные дни? Она ехала от станции «Аэропорт» в Измайлово, там они с Белкой занимались каждая своим делом — Белка готовила воскресный плов, а Нинель вязала. Лёдик на это время убежал в Измайловский парк или в кино на дневной сеанс, чтобы не заставили что-либо таскать, прибывать или чистить, а потом прибывал к обеду. Родители, как правило, уже успевали поесть на кухне, а Белка накрывала в гостиной стол на три-четыре персоны, потому что к ним повадился троюродный брат Лёдика Костя. Он работал в «Известиях», так называемой *свежей головой*, то есть вычитывал текст на предмет ляпов. Получал он сущие гроши, но важничал невероятно и *тет-а-тет* часто называл Лёдика му..аком по разным поводам. Лёдик ужасно этим мучился, но не знал, как прекратить это агрессивное свинство. С другой стороны, Костя был его постоянным партнёром в картёжных сражениях (для шахмат его мозг не был приспособлен совершенно).

После плова с отменной квашеной капустой тёщиного по-сола они традиционно шли гулять в Измайловский лесопарк. О чём говорили подружки, видевшиеся каждый рабочий день в учительской, мы теперь не узнаем, а братики почти не общались, потому что бедный и холостой «свежая голова» ходил вечно неудовлетворённый своим социальным положением и злился на Лёдику, потому что глупый Лёдик собирался защищать диссертацию. Неравенство положений ввиду его предстоящей защиты было для Кости мучительным. А пока Костя угрюмо молчал и с ненавистью думал о мамочке, с которой он делил комнатушку в коммуналке. Тенорок Лёдики действовал ему на нервы, особенно когда братику перед прогулкой удавалось выиграть несколько партий в канасту.

Спрашивается, зачем Костя таскался в эту семью? Ответ прост, как пареная репа — друзей у него не было, ничем, кроме идеального знания русского языка, он не обладал. Когда-то в детстве милая мамочка забрала его из школы и отправила в ремесленное училище. Это был не лучший вариант, но сынок не пристрастился к выпивке и всякой похабщине исключительно потому, что соученики звали его армяшкой или жидом и в свою компанию не брали. Кое-как Костя домучил десятилетку в вечерней школе и отбыл к папаше в город Орджоникидзе, где пристроился благодаря связям отца в местную газету внештатным корреспондентом и поступил в заочный педагогический институт.

Нинель не любила Костю и однажды сказала Белке:

— Какой-то он скользкий...

на что Белка со вздохом ответила:

— Что поделаешь, — родственников не выбирают.

У Кости был такой же диплом учителя русского языка, как и у Нинели, но Костя ни одного часа не преподавал, да и никакой тяги к этому делу не испытывал. Если случалось ему услышать о проблемах Нинели с учениками, он совершенно не реагировал. Надо сказать, что он умел молчать и вообще *хранить молчанье в важном споре*, чего не скажешь о Лёдики, и это вызывало раздражение братика.

— Учу тебя, учу, — ворчал он, — чего ты вечно лезешь со своим желанием помочь. Подожди, пока тебя попросят. Всё-таки ты порядочный му.ак, хоть и кандидат наук!

Слово *кандидат* он часто произносил с особенным остервенением — *кандидаттттт!!!*. Ещё бы — Лёдик, в конце концов, кое-как защитился и стал получать аж целых сто семьдесят пять рублей против ста десяти Костиных.

Нинель никогда в своей жизни до дружбы с Белкой не выезжала на прогулки за город и не понимала, что ей там делать, а Белка с Лёдиком любили лес и в выходные садились с утра на автобус и доезжали до кольцевой дороги, пересекали её и уходили по проторённым тропинкам вглубь, подалее от цивилизации. Воскресные походы начинались весной, когда снег уже сходил и в лесу там и сям темнели озёрца чистой талой воды. У Нинели не было никакой обуви для таких походов, а купить пару лёгких резиновых сапог она не догадывалась; отказаться от совместной прогулки она не хотела, вот и шлёпала по болотистой почве размокшими туфлями, которые потом дома сушила изнутри скомканной газетой. Лёдик умирал со смеху, глядя на Нинель, вооружённую подобранным берёзовым посохом, которым она проверяла надёжность очередной кочки, прежде чем на неё ступить. В её глазах светилось отчаяние, но она молча несла свой крест. Белкина судьба была куда прелестнее — Лёдик каждый раз переносил её через препятствие. Предложить такую же услугу Нинели он не хотел, уж очень она была тяжела, да к тому же он чувствовал к ней что-то вроде брезгливости.

Чем развлекаются обыкновенные городские мужчины, когда встречаются семьями? — играют в шахматы, карты, идут во двор поиграть в пинг-понг, выпивают и закусывают, даже помогают друг другу по сантехнике. У женщин основное занятие при встречах — болтовня. Конечно, обсуждение школьных идиотизмов тоже приедается. Обе подруги любили читать толстые журналы. То, что выходило за рамки школьной

программы, живо интересовало Нинель, и она с удовольствием делилась с Белкой своими открытиями. Восхищалась, к примеру, Андреем Платоновым:

— У него совершенно удивительный нерусский русский язык! — восклицала она.

Лёдик после защиты стал немного известен в узком кругу, но не задавался, а старался найти хлебное место. Он понимал, что его ценят, как ученика школы профессора Грибанова, и старался максимально использовать это преимущество. Ему предложили контакт с одним деятелем из института Фармации, неким Шиловым. Шилов когда-то был в должности заместителя у директора, которая была женой очень ответственного лица и обладала несноснейшим характером. Однажды он поспорил с ней и тут же был понижен до должности завлаба под тем предлогом, что у него нет докторской степени. Он, участник войны, партийный, русский, контуженный, выпустивший учебник по химии для фарм-факультетов медицинских ВУЗов, получивший благословение партийной организации на присутствие в ООН по вопросам всемирного здравоохранения, должен был вместо удовольствия от жизни искать пути для получения дурацкого диплома доктора наук! Тут его свели с молодым кандидатом Лёдиком, который мечтал о приработке, и дело потихоньку завертелось. Лёдик вёл исследование сердечных гликозидов, печатал статьи и писал куски будущей диссертации, а Шилов сидел в Женеве и изредка наезжал в Москву по делам, не забывая привозить для Белки всякие презенты. Однажды он завёз десяток мотков синтетических ниток небесного цвета, из которых Нинель связала потрясающую кружевную пелерину. Белка назвала этот шедевр *пончо*.

Спустя много-много лет Лёдик вспоминал, что одинокие знакомые часто навещали их в шестиметровой комнате, где они ютились при родителях. Парни — тот же Костик, или Лёвка Ланге, или Сашка Шлемов часто находились на распутье между неудавшимся браком и поиском новой подруги жизни. Белка и Лёдик, должно быть, казались им образцом

стабильной семьи, хотя детей пока ещё не было. Вот и одинокая Нинель стала частым гостем. О семье, кажется, она вообще не думала. Человек привыкает к холостому существованию и чем дальше, тем более он ценит своё одиночество и возможность жить так, как хочется в любой данный момент времени. Прийти, к примеру, с работы, раздеться до гола, походить по квартире, выпить через соломинку холодный манговый сок, сделанный в Гондурасе или Никарагуа, поваляться после этого на диване с книжкой стихов Волошина, доставшейся по счастливому случаю. И никто не хрипит тебе в ухо, что надо идти в магазин или велит помыть посуду, или пылесосить проклятый ковёр, подарок бабушки.

Лёдик однажды был у Нинели в гостях, зашёл в туалет и удивился, увидев большое вертикальное зеркало прямо напротив унитаза. Что там было ей рассматривать? Лягушачий живот и тонкие паукообразные ручки? Правда, Лёвка Ланге признавался, что часто развлекается перед зеркалом, которое тоже повесил на двери туалета. Ну, Лёвке хоть было с чем поиграть, а Нинель небось даже не догадывалась в те времена о существовании игрушек из секс-шопа.

Дружба с Нинелью была необременительной, временами даже приятной, а порой приносила неожиданную радость. Так, лет через восемь после начала знакомства Нинель спросила Белку, не хочет ли она отдохнуть в доме творчества писателей в Дубултах, что на Рижском взморье. Ей, мол, как дочери писателя Иоффе, предложили путёвку на всю семью за дёшево.

— А вы, вроде бы, и есть моя семья,— продолжала Нинель,— так что если согласны, давайте денежку и поедем в июле.

На самом деле, как вы помните, у неё была родная сестра Муся и две племянницы, но с ними было скучно, да и дети раздражали... А с Лёдиком и Белкой были ровные и тёплые отношения. Однажды Нинель, не терпевшая сантиментов, даже назвала его *братиком*.

Их поселили во флигеле, так как большое и светлое здание предназначалось для членов союза писателей. Там сновали два лифта, на каждом этаже был просторный холл, где стояли цветные телевизоры, у каждого писателя была душевая комната и прочие блага цивилизации. А наши члены семьи Иоффе ходили купаться в душевой павильон, но летом это было даже приятно — пройтись после душа сосновым парком.

Одно дело повидаться с другом или подругой раз в две недели, в крайнем случае, раз в неделю, а другое дело видеться каждый день с утра и до вечера. Устаёшь от общения. Нинель в карты не играла, она вообще ни во что никогда не играла. Она не пела, не играла на гитаре или пианино, не плавала. Ну как тут общаться? Они с Белкой ходили ежедневно по ухоженной песчаной полосе вдоль моря от одного санатория к другому и чирикали на свои бабьи темы, а Лёдик, мучимый бездельем, зачастил в застеклённый сарайчик, где сражались любители пинг-понга.

Однажды он привязался к Нинели с вопросом, в чём главная идея романа «Война и мир». Поскольку Нинель молчала, он поспешил с ответом: основная мысль — народная война всегда победоносна. Честно говоря, это была мысль Грибанова, шефа Лёдика, а он преподнёс её, как свою. У Нинели при этом было совершенно мученическое выражение лица. Белка пришла ей на помощь и увела Лёдика на прогулку.

— Что ты к ней привязался? Ей тошно говорить о литературе. Ты помнишь анекдот, как проститутка поехала в дом отдыха и к ней прибился мужик с ухаживаниями? Она его спрашивает:

— А вы кем работаете?

— Я на заводе фрезеровщиком.

— Вот представьте, что вы вышли погулять, а кругом станки, станки, станки...

Дом творчества в Дубултах не был экстра-класса, поэтому там было много бабушек с писательскими внучатами, одиноких писательских жён и всякая писательская мелочь, которая сочиняет тексты для радио и телепередач. Классики

сидели по домам и на дачах. На несколько дней появился поэт Ваншенкин, который каждый день надевал новую кепочку.

Однажды весь дом творчества всполошился — узнали, что вечером приедет великий Аркадий Райкин. Все с нетерпением собрались в кинозале, а он всё не шёл. Лёдик подумал по глупости, что Райкин будет выступать, и поторопился занять места в зале. Райкин, в конце концов, появился на высоченных каблуках, ни с кем не раскланивался и его надменное лицо страшно напоминало морду верблюда, который собирается плюнуть. Зачем он появился, Лёдик так и не понял и поплёлся в свой флигель.

Следует признать, что в доме творчества очень вкусно кормили. Прислуживали в основном латышские женщины в национальных платях с вышитыми фартуками. Нинель относилась к меню очень внимательно, долго составляла заказ на грядущие дни. От неё веяло важностью. Она ведь была главой семьи Иоффе, которая устроила такой красивый отдых Белке и Лёдику! А отдых был действительно красивым. Раньше нигде Лёдик не видел таких ухоженных лужаек с берёзами при полном отсутствии бытового мусора, а бесконечный песчаный пляж просто сиял чистотой, оставляя аккуратное кружево морской травы на границе с водой с вкрапленными кусочками янтаря. Европа! Крошечный рынок предлагал ягоды крыжовника и смородины по бросовым ценам. Но всё это быстро надоело, потому что настоящий отдых — это занятие любимым делом, к которому питаешь пристрастие.

Лёдик познакомился с пожилой парой, стоя в очереди за чашкой кофе в маленьком баре. Израиль Кацев чем-то напоминал Эйнштейна, о чём общительный Лёдик сразу сообщил ему. Жена его, манерная дамочка с неприятно-белым лицом, всё время затевала разговоры на литературные темы, хотя по профессии была биологом. Кацев воевал с апреля сорок четвёртого лейтенантом в пехоте после окончания школы. О войне рассказывал мало. Однажды за миллиардом, а он отменно играл в «пирамиду», поведал Лёдику, наверное, самый

потаённый эпизод из своей военной биографии. Он с группой своих солдат шёл по шоссе, и вдруг из-за леса вынырнули два охотника за человечиною — «Мессеры». Солдаты кинулись врассыпную к придорожным кюветам, а Кацев прижался к асфальту, по которому шёл. Мессеры прострочили пространство из спаренных пулемётов и умчались, солдаты снова выровнялись в цепочку, и Кацев повёл их в расположение полка.

— Эй командир, — громко сказал один из бывалых, — посмотри-ка, как фрицы тебе шинельку прострочили, любодорого глядеть!

И действительно — произошло чудо: с обоих боков шинели чернело по пять дыр от пулемётных патронов. Сдвинул бы лётчик прицел правее или левее на долю миллиметра — лежал бы Кацев в сырой земле. Чего только не бывает на войне...

— Но ведь что интересно — эпизод потрясающий, а рассказа по нему не напишешь. В чём же тайна писательского ремесла? — обратился Лёдик к Нинели. — Как сделать из материала литературу?

Однажды в Москве Кацев с женой пришёл к ним в гости и после умеренной выпивки и неумеренной закуски предложил прочесть рассказик на военную тему. Хотя там было текста на две с половиной страницы, Лёдик успел задремать, настолько это было скучно. Нинель, как всегда промолчала, но месяцев через семь принесла Белке машинописный экземпляр двух своих рассказов.

Это были уже известные Белке и Лёдику истории из жизни Нинели в детдоме для детей писателей, приютившим их на время войны на берегу притока Камы. Белка всё удивлялась, почему в устном изложении эти истории были такими яркими, а на бумаге оказались серыми и скучными. Всего за пару месяцев Нинель изготовила восемь рассказов и серьёзно собиралась их опубликовать. Лёдик внимательно прочёл тексты и только в одном нашёл яркую сцену: провозжали ребят на войну, к берегу была подогнана баржа, которая должна была довести их до сборного пункта. На берегу слышался

плач и вой, никаких парадных речей, никаких знамён. И через этот разнообразный шум — изредка резкий клик пионерского горна. Горнист явно не умел с ним обращаться, и ужасные резкие звуки были как вскрики от ожогов.

В жизни немолодой училки русского языка и литературы может случиться романтическая встреча, совершенно непредвиденная. Однажды Нинель привела Гену, средних лет мужчину с брюшком. Как раз в этот момент Лёдик наливал друзьям по третьей рюмашке по случаю своего дня рождения и встретил «молодых» с большим энтузиазмом. Гена молча улыбался и косил хитроватым взглядом. Нинель тоже была весела, тем более что в захмелевшей компании совершенно не чувствовалась разница в возрасте. Однако мы все знаем, что чем старше одинокие, вступающие в отношения, тем более хрупким оказывается сердечный союз. Застарелые привычки вскоре дают себя знать и раздражают вторую половину, так что едва наметившийся союз уже кажется досадным бременем. Гена вскоре разочаровался в Нинели и больше на вечеринках не появлялся.

Несколько раз Лёдик приглашал её, когда приходили Кацевы, однако Нинель держалась замкнуто, жена Кацева важно рассуждала о литературе. Нинель считала её манерной и глуповатой. Кацев рассказывал о заграничных поездках, о встрече со знаменитым Феллини, о совместном отдыхе с композитором Прокофьевым, ему было что рассказать, а Нинель думала о том, что вот, существуют выездные евреи и им нет дела до тех, кто портит глаза, вычитывая школьные сочинения за гроши и дышит нечистым воздухом переполненных классов.

Кстати, она всё чаще стала ощущать ослабление зрения и по совету сестры обратилась в глазную клинику. Оказалось, что вовремя. Анализ крови показал диабет в средней стадии и врач решительно рекомендовал сестру на жёсткую диету и начать принимать всякие препараты. Нинель была сладкожкой, а это часто встречается у одиноких людей, особенно

у женщин. Вообще кто-то умный сказал однажды, что бедняки любят сладкое, потому что этот вкус приближает их к ощущению счастья в их понимании.

Белка была очень обеспокоена беспечностью Нинели.

— Я говорила ей, что она играет в опасную игру. Надо лечиться, следить за собой. А она мне отвечала, что жизнь даётся всё равно только один раз и что она хочет её прожить, ни в чём себе не отказывая. Квартиру она оформила через нотариуса на старшую племянницу Машу на случай своей смерти и надеется, что та в случае тяжёлой болезни присмотрит за ней. Квартира это самая большая ценность! Ведь так?

Диабет сопровождается повышением раздражительности, людям нет дела о причинах — они просто говорят:

— С Нелкой стало просто невозможно общаться. Она целиком поглощена своими проблемами, теперь у неё очередная идея фикс — она хочет накопить побольше золота, чтобы расплачиваться за услуги, когда она заболит. Как будто у неё нет настоящих друзей, которые придут на помощь к ней в трудную минуту...

Трудная минута — это весьма и весьма краткий интервал времени, а диабет — до конца жизни. А мы все не святые, чтобы опекать друга денно и нощно. Да у нас и своих дел полно.

Однажды Нинель встретила у Белки с её однокурсницей Нинкой, приехавшей из Конго и притащившей гору золотых украшений. Нинка была жутко некрасивой, с длинным носом и маленькими чёрными глазками, огромным ртом с кривыми зубами, но партийная и из хорошей рабочей семьи, где папа пил почти ежедневно и немало. Нинка посмуглела и даже похорошела, научилась говорить по-французски и носила толстую золотую цепь, два раза обёрнутую вокруг шеи. Нинели, которая уже плохо видела, дозволилось пощупать цепь и оценить, сколько там золота. После этого женщины обсуждали весь вечер, как ещё можно сохранить и даже умножить богатство, потому что золото всегда растёт в цене. Белка в ужасном раздражении бегала каждые три минуты на

кухню и шёпотом бранилась. Потом, наконец, Лёдик довёл Нинель до метро и с облегчением посадил в вагон.

А слепота всё наваливалась. То, что казалось таким преимуществом — отдельная квартира, тишина, даже некоторый комфорт мягкой мебели теперь означали лишь беспросветное одиночество на пенсии по инвалидности. Её оформили в общество слепых, и она набирала домой записи больших романов, которыми в прежнее время было некогда наслаждаться, таких как «Иосиф и его братья», и прослушивала их дважды. Она вспоминала, как приятно пахла новая желанная книжка, когда удавалось её достать, пусть даже с переплатой. Музыка она не очень понимала, слуха у неё не было, симфонии казались ей избыточно перегруженными, воинственность Бетховена раздражала, а мягкая мелодичность Чайковского казалась чересчур *сляденькой*.

Единственным противовесом наползающему несчастью были близкие знакомые и друзья. Она не жалела денег, чтобы пригласить и угостить их, послушать сплетни-однодневки, похвастать запасами продуктов, рассказать, как она командует своим бытом, всё помнит, у неё всё вычищено, в квартире всегда хороший запах. Приходящей два раза в неделю уборщице она даёт три рубля! А могла бы давать рубль! И вообще она ничего для себя не жалеет.

Белка всегда возвращалась с посиделок раздражённая бесконечным хвастовством Нинели, а Лёдик старался вообще остаться дома. Знакомые Нинели его вообще не интересовали — какая-то очередная учительница с мужем, работающим физкультурником в институте стали и сплавов, ещё одна знакомая, которая бросила преподавать и подалась в маникюрши, безмозглая корова её родная сестра и чрезмерно болтливая, высокоумная другая сестра Рая, хоть и доктор биологических наук, а самонадеянная дура. Единственно симпатичным существом была племянница-наследница Маша, которая очень сочувствовала Нинели, но уже имела двоих малых девчушек и, конечно, времени на визиты к тёте Нинели почти не оставалось.

Посещения друзей с палочкой-поводырём через всю Москву стали для Нинели самыми значимыми событиями в жизни. Одно дело сидеть дома, наслаждаться чаем с ватрушкой, читать толстый журнал, не торопясь готовить что-нибудь на ужин, а другое дело — сидеть, как мышь в норе, в темноте, которая образовалась совсем неожиданно год назад и нет, и не будет света никогда. Никогда... А родственники-друзья-знакомые не очень-то горят желанием навещать, пообщаться. Оказывается, у каждого есть масса неотложных дел и не хватает времени на подругу, которая столько сделала добра им всем. Вязала им кофты, свитера и пелерины, добывала путёвки в престижный дом отдыха, дарила дорогие подарки.

В тот памятный вечер у Белки с Лёдиком снова были Кацевы. Израиль Григорьевич недавно вернулся из Италии, рассказывал неторопливо, со вкусом о разговорах (через переводчиков, естественно) с известными режиссёрами. Нинель позвонила и решительно сказала, что ей нужно посоветоваться с Белкой, и срочно, а у неё, то есть Белки, совсем не осталось для подруги времени, а выяснять по телефону ей неприятно, и вот она уже стоит в пальто и через час с небольшим пусть Лёдик встретит её на выходе из метро.

Белка была возмущена резким тоном Нинели и её непредвиденным звонком. Она решительно предложила:

— Давай завтра,  
но Нинель сказала:

— Нет, именно сегодня и не по телефону, а при личной встрече!

Белка вздохнула и велела Лёдику одеваться. Ужин и вечер были окончательно испорчены. Через сорок минут Лёдик, матерясь шёпотом, накинул пальто и, извинившись перед Кацевыми, поплёлся к метро. Как человек не совсем глупый, он понимал болезненное поведение Нинели и её досаду от того, что она стала почти всем обузой и никого особенно не греют хорошие воспоминания. И вообще *«кого е..т чужое*

горе?» — как выражается простой народ. Пока он шёл к метро, у него созрел план. Он сделает вид, что ему не удалось встретить Нинель, и пусть это будет ей уроком, пусть она заранее согласовывает свои визиты! Он развернулся и медленно пошёл в магазин «Диета» через улицу.

Через двадцать минут он позвонил из автомата Белке и сказал, что Нинель он не видит, уж не перепутала ли она станции... Белка ответила, что Нинель только что позвонила и сказала, что у неё осталась последняя двушка и она не понимает, куда подевался Лёдик. И Ледик, закончив обход магазина, и неторопливо пошёл к метро. Он вполне правильно рассчитал нетерпение Нинели. Когда он подошёл к турникету, её уже не было. Глубоко вздохнув, он быстрым шагом отправился домой.

Конечно настроение всё-таки было испорчено сознанием, что он совершил подлость, но он даже не представлял, что спустя двадцать с лишним лет он будет вспоминать с тоской этот ничтожный эпизод пусть отстраненно, без надрыва, но как ноющее в глубине хроническое состояние, которое уж никогда не пройдёт.

— Как ты мог её не встретить? — крикнула Белка, едва он отворил дверь.

— Я думаю, что она просто перепутала станции, — ответил он, — завтра после работы я заеду к ней и выясню, что произошло. Он ещё успел выпить чаю с Кацевыми и порассуждать о трактате Камю «Бунтующий человек».

Если бы кто-нибудь на следующий день сказал ему: «Ты — мразь, подонок, неблагодарная тварь, и ты отлично знаешь, почему!», он бы почти искренне удивился — подумаешь, какой проступок! Но чувство вины было и зудело внутри. Он зашёл в Елисейский гастроном и купил разной вкусной снеди, включая сладости.

— Теперь, когда Нинель ослепла, ей можно есть всё, — подумал он.

С этими покупками он поднялся на шестой этаж кооперативного дома и позвонил. Нинель открыла.

— Всё-таки у слепых иное выражение лица, чем у зрячих, — подумал он, — застывшее, что ли... Как это произошло, я в ум взять не могу! Где ты стояла? — прокричал он. — Вот, я принёс тебе вкусных вещей из Елисейского!

Нинель молча повернулась, вошла в комнату и прилегла на диван. Лёдик чувствовал неукротимую потребность заполнить эту тягостную тишину словами, и они уже почти вырвались из его рта, как вдруг Нинель, уставясь глазами, полными слёз, в потолок произнесла:

— Я чувствую, как от меня уходят люди...

Потом она встала, нашарила на столе бумажные салфетки и промокнула глаза. Лёдику стало так неловко, что он забормотал:

— Ну что ты, что ты, мы-то всегда будем с тобой... Нинель не отвечала. — Ну, я пойду?... Я пойду, пожалуй, — сказал Лёдик и тихо прикрыл за собой дверь. — Поташило, как Раскольникова на место преступления, — подумал он, спускаясь в лифте.

Прийти на день рождения подруги — это же святое. А к больной, ослепшей подруге — это трижды святое, не так ли? Белка сто раз повторила Лёдику, как ей не хочется идти. В конце концов Лёдик отрубил:

— Так не иди, придумай причину и не иди!

— Нельзя, она обидится.

— Тогда иди, я лично не пойду, нечего мне там делать!

(Как будто приходящие в гости что-то делают, кроме того, что выпивают, закусывают и произносят фальшивые и глупые тосты). Белка вернулась от Нинели злая, как чёрт и избражала, как Нинель опять хвасталась весь вечер, как много у неё всякой еды и как её великолепно обслуживают.

— Она хотела всем бывшим друзьям показать, что в их помощи больше не нуждается, — догадался Лёдик.

— Ну да, гоняет свою племянницу Машку: принеси-унеси, не забудь поставить, не забудь нарезать, не забудь убрать в холодильник. Как с дворовой девкой, тьфу!

— А как ты себе представляешь её приход к тебе на день рождения?

— Очень просто,—я скажу, чтобы она взяла такси, а мы оплатим ей проезд туда и обратно.

Однако Нинель так больше никогда у них и не появилась. Вскоре у неё начались осложнения, связанные с диабетом. Она подолгу лежала в больнице, потом восстанавливала здоровье в санаториях-профилакториях, потом снова ей становилось хуже, хуже, хуже с каждым разом, а потом она умерла. Ледик на похороны не поехал. Квартира и сберкнижка достались племяннице.

Однажды Лёдик с Белкой поехали отдохнуть на неделю к друзьям, купившим домик на берегу прелестной речки Угры. Добираться было долго и хлопотно, но очень хотелось пройтись по лесным тропинкам, пособирать грибов и половить рыбу. Каково же было их удивление, когда в магазине хозяйваров на центральной усадьбе они столкнулись с Машей, которая зашла туда из любопытства, ведя за руки двух очаровательных девочек лет шести и восьми. Оказалось, что когда-то давным-давно она слышала от Лёдика, что его друг купил избушку в этих местах, и она попросила у Лёдика телефон и уломала его друга выяснить, нет ли там ещё какой-нибудь развалюхи на продажу. И вот, она купила на деньги, оставшиеся от тёти Нинели, хороший дом на центральной усадьбе, и здесь она уже давно чувствует себя своей, и люди здесь такие добрые, правда мужики напиваются до совершенно скотского состояния, но к ней никто не пристаёт.

Прошли годы. Столько всего произошло, что осмыслить невозможно. Поколение, родившееся перед войной, на протяжении короткой человеческой жизни сменило керосинки и очереди в телефонные будки за пятнадцать копеек на электроплиты и мобильные телефоны. Вот-вот и телевизоры войдут в список ненужного хлама. Подруги Нинели пока ещё живы, но некоторые сменили место проживания на Америку. Та самая косметичка открыла свой салон и процветает,

а тренер по лёгкой атлетике, тоже не скучает. Оказалось, что многие американцы хотят, чтобы их научили правильно бегать, и это даёт достаточно денег. Что касается Лёдика, то его наука, вернее наука на его уровне, оказалась никому не нужна. Он с трудом устроился тьютором в незначительный колледж, а потом бросил это занятие и вышел на пенсию по возрасту.

Оказалось, что если готовить еду самому и жить в доме для бедняков, то можно сэкономить кучу денег и тратить их на свои прихоти, благо медицина для таких, как он — бесплатная, кроме зубных дел. Однако Лёдик решил зубные проблемы раз и навсегда — удалил сразу все зубы и получил взамен замечательный полный протез. Белка, как приехала, сразу пошла к психиатру и пожаловалась на депрессию. После полугода бумажных мучений ей дали дезабилити, так что она ни одного дня не работала, а всё-всё имеет. Ну что ещё нужно для полного счастья? Главное — осознать, что ты живёшь в раю, и неважно, заслужил ты это право или не заслужил.

Одна только заноза время от времени беспокоит старого Лёдика. В его голове возникает лицо Нинели, которая называет его замечательным словом «*Братик*». И он тогда ходит встревоженный и вспоминает тот злосчастный вечер, когда не встретил слепую Нинель, и просит у неё прощения за свою мелкую подлость.

Пусть строгий читатель не ругает малоизвестного автора за заимствование стиля у несравненного Михаила Булгакова.

## Тётя Мара

**У Леньки Резника был сокурсник Миша Гринберг,** с которым он серьёзно сдружился после переезда в Германию. Жили вроде бы близко — на машине пять часов, но виделись редко, потому как у каждого своя семья, внуки и возраст, возраст... Так, по телефону раз в месяц звякнут: ну как дела? А какие у них дела? — всё в прошлом. Но Леньке хотелось общаться по Скайпу. Набрал Ленька адрес: Михаэль Гринберг, Дюссельдорф. Вывалилось в Скайпе сто адресатов! И все Гринберги. Какой выбрать? Пришлось послать Мише е-мэйл: Как, мол, тебя найти?

А море памяти вдруг выплеснуло на берег сознания историю жизни тёти Мары Гринберг, весёлой красавицы и хохотушки, Марии Семёновой в девичестве. Тётя Мара была самой близкой подругой Ленькиной мамы, а познакомились они задолго до войны, когда дедушка Леньки Иосиф бежал от погромов атамана Григорьева с женой и двумя дочками в Москву, но в самой столице пристроиться не удалось, а в посёлке Ховрино купил на паях с братом Хайм-Гершем халупу. Так что мама Леньки была приезжая еврейка, а тётя Мара — местная и русская. И вот они познакомились и понравились друг другу. Мама решила стать врачом, но ей нужно было заработать рабочий стаж, так как она была из семьи лишенца, а тёте Маре путь к знаниям был открыт, так как она была дочерью красноармейца из ремесленников. Но в институт она не пошла, а окончила курсы для медсестёр и скоро стала работать в местном санатории. Да-да! Не удивляйтесь. В Ховрине тогда был санаторий и местность была дачная.

Мама и Мара были подругами-красавицами ещё и потому, что были совсем молодыми. Им было по двадцать или около

того. Ещё они были проказницами и модницами. Один знакомый парень, увлекающийся фотографией, однажды сделал снимок, как они сидят в свитерах поверх мужских рубашек и с галстуками, в мужских шляпах и с папиросами в зубах. С ними ещё была мамина родная сестра Лиза. А у Мары был родной брат Коля, который потом стал генералом. Но это было через много-много лет. А на фотографии им, как я уже говорил, по двадцать, а на дворе 1936 год. Ну, все мы историю СССР знаем и, как тогда жилось в Москве и пригородах, тоже знаем, нечего тянуть время и пачкать бумагу понапрасну.

За мамой стал ухаживать будущий Ленский папа, который тоже приехал из Кировограда и учился на последнем курсе знаменитого Бауманского института, который тогда назывался техническим училищем. А у будущего папы был очень близкий старший друг, и звали его Иосиф Гринберг, который тоже пока был холостой. У Иосифа было два брата, оба пламенные революционеры. Один из них, самый старший был достаточно близко знаком с Троцким, сидел в царских тюрьмах, а после революции занимал важный пост на Полтавщине. Средний брат тоже был известным подпольщиком и имел кличку «Соколов», что впоследствии несколько упростило жизнь его детям, рождённым в браке с родной сестрой Мары, которую звали Оля. Многие из молодёжи тогда мечтали стать экономистами, как великий и незабвенный Маркс, и строить-строить-строить социализм в отдельно взятой стране.

Так уж получилось, что Иосиф мгновенно и навсегда влюбился в Мару, а на различие в национальности тогда мало кто обращал внимание. Правда, отец Мары ещё не дозрел до понимания пролетарского интернационализма, потому что был кустарем-одиночкой и шил сапоги. Следом за Марой вышла замуж за Михаила старшая сестра Ольга. Вот как бывает — две родных сестры вышли за двух родных братьев. У Семёна была ещё младшая дочь Поля, которая вышла за слесаря Сергея, но о ней ничего интересного сказать не можем. Молодые семьи

дружно строили социализм и уже завели первенцев с разницей в год. Мама родила Леньку, Мара — Эдика, Оля родила Леду и Вовку, а Поля — Николку. В народе говорят, что когда идут сплошные мальчики, то это к войне. Так оно и есть — в год и месяц рождения Леньки началась вторая мировая война. Судьба старшего брата Гринбергов к этому времени уже сложилась окончательно. Его убили в 1930 году кулацкие элементы, так что младших братьев не таскали в НКВД по поводу троцкизма старшего брата.

Иосиф Гринберг был призван в ряды Красной армии ещё в Финскую войну и работал в политотделе, знал многие постыдные секреты нашей доблестной армии, но умел держать язык за зубами. Потом, после подписания грабительского мира его на время отчислили из действующей армии, и он пошёл преподавать студентам политэкономии в Менделеевском институте. После бесславного начала Отечественной войны его опять призвали и назначили начальником санитарного поезда, а эта работа была не из лёгких, потому что мы несли неслыханные потери и надо было срочно возвращать раненых бойцов в строй. Тётя Мара работала в том же поезде медсестрой, а Эдик жил у бабушки в Ховрино. Время от времени тётя Мара срывалась на денёк, пока состав переформировывался, и летела повидать сына и забросить продукты в семью — стущёнку, тушёнку и прочее. Война шла своим чередом, наши доблестные войска наступали и потому число убитых и раненых всё росло. Раненых вывозили всё на тех же поездах, но теперь уже из стран Балтики, и будущих стран народной демократии. Когда вошли на территорию Румынии, наши победители, оставшиеся в живых, стали набивать вещмешки, кто чем мог. Не может ведь победитель вернуться в родной дом без трофеев! Хотя Румыния одна из самых бедных стран Европы, Иосиф с Марой вывезли немало добра, благо с транспортом проблемы не было. После окончания войны они смогли выручить достаточно денег, чтобы купить в деревне Ховрино домик с участком. Тётя Мара не стала искать работу, а занялась огородом и завела поросят.

Эдик уже готовился поступать в первый класс и за ним следовало приглядывать, уж очень он был шустрый парень. А дядя Иосиф вернулся к своим экономическим наукам.

Мама с Ленькой очень любили бывать у них в гостях. Шутка ли — они жили в трёх комнатах, меблированных по-городскому, и в спальне у них стоял трельяж, а на нём стоял тёмно-синий флакон духов «Огни Москвы» с изящной хрустальной пробочкой. Ленька мог нюхать этот чарующий аромат часами и главное — казалось, что тётя Мара вся источала этот сказочный аромат. А мама так завидовала тёте Маре, хотя и любила её, так завидовала... Часто, когда мама приезжала только с Ленькой, она просила дать померить золотисто-коричневую цигейковую и чёрную щипаную кроличью «под котик» шубы, которые Гринберги вывезли из Румынии. Конечно, тётя Мара разрешала. Мама, папа и Ленька тогда жили в проходной комнате в двенадцать квадратных метров с косым дощатым полом, но зато не в подвале, как многие, а на втором этаже. Пока шла война, папа работал на оборонном заводе после контузии, полученной в августе 1941 года. Он прекрасно знал немецкий и был призван переводчиком в действующую армию. Однажды он вместе с зелёным солдатиком вёл в штаб захваченную немецкую диверсантку, а та, видно, была хорошо подготовлена, потому что воспользовалась моментом, вырвала винтовку у солдатика, заколола его штыком, сокрушительным ударом приклада отключила папу и была такова. Папа пролежал в госпитале неделю, пока пришёл в себя, но зрение и без того слабое, ещё год восстанавливалось, а потом его комиссовали и отправили на завод. А мама до июля 1943 с семьёй была в эвакуации, где работала врачом-терапевтом. Так что Резники были бедны в 1947 году, как церковные крысы, и перспектив улучшить жизнь не было никаких.

\* \* \*

А то, что богатые тоже плачут, как нам поведал бесконечный южноамериканский телесериал, это истинная правда.

Хотя Гринберги были очень богаты по сравнению с Резниками, их посетила огромная тревога, которая чуть не кончилась большим несчастьем для дяди Иосифа. В тётю Мару безумно влюбился ранней весной сорок пятого генерал Крюков. Где пересеклись их и дороги, нам теперь уж не узнать, но тётя Мара в белом халате и белой шапочке с красным крестом была неотразимо хороша. Сразу оговоримся — это был не тот знаменитый генерал Александр Евдокимович Крюков, который скончался в 1944 году, а его молодой однофамилец, которому очень шёл парадный генеральский мундир. После окончания войны он нашёл тётю Мару в Ховринском доме, свалился как снег на голову, с цветами и конфетами и начал кружить вокруг возлюбленной подобно шмелю вокруг цветущего шиповника. Дядя Иосиф пропадал в Москве, обучая студентов политэкономии и экономике социалистических предприятий, Эдик был ещё мал, чтобы осмыслить опасность, нависшую над семьёй, а тётя Мара была красивой, но слабой женщиной и долго выдерживать осаду не могла. Если бы не Эдик, она, пожалуй, быстро капитулировала бы, но сын... как объяснить сыну, что его папа больше не папа... К тому же, Иосиф был крупным мужиком с львиным рыкающим басом, импозантным, любящим и заботливым. Он быстро узнал от соседей, что машина с генералом зачастила в его семейное гнездо, но не стал орать матом и ставить фингал под глазом своей законной жене, как этого ожидали соседки. Он тактично намекнул тёте Маре, что двоемужества не потерпит и что она должна решить в кратчайшее время, с кем она продолжит жизнь. Судьба-индейка тут же предоставила случай. Иосиф приболел и остался дома, а генерал прилетел с очередным букетом и флаконом духов. Так что вместо сладких объятий и нежного поцелуя в щёчку он столкнулся с массивным мужиком, напоминающим подраненного разъярённого быка на арене корриды. Разговор втроём не получился. У генерала кроме любви ничего в запасе не было, а Иосифу было наплевать на его погоны и изрядное жалованье. Кстати, генерал был женат и тоже имел сына,

естественно, состоял в партии и мог получить хорошую головомойку с оргвыводами, а до антиеврейской компании было ещё пять лет.

Итак, мужики сидели в столовой-гостиной, а тётя Мара ходила по комнате с марлевой салфеткой и вытирала пыль. Иосиф задал прямой вопрос:

— Марика, ты должна сказать нам с кем ты собираешься жить дальше. Отвечай!

Тётя Мара долго молчала, а потом крикнула:

— Как вы мне оба надоели! Видеть вас не хочу! — бросила марлю на пол и, хлопнув дверью, выбежала в огород плакать.

Что думал сравнительно молодой генерал, мы никогда не узнаем, но разведка, скорее всего, ему донесла, что Иосиф Гринберг не из тыловых крыс, а уважаемый и многократно заслуженно награждённый спаситель героических раненых наших бойцов. Короче, Крюков понял, что надо уходить и не возвращаться. Он встал и не прощаясь вышел, краем глаза зацепив тоненькую фигурку, склонившуюся над картофельной грядкой, сел в машину и уехал. Навсегда.

Мара ещё с неделю дулась и тосковала, а потом простила мужиков и себя и стала прежней ласковой и смешливой подругой, ловко управляющейся с хозяйством и сыном.

Что значат наши мелкие обиды, страдания перед великой целенаправленной несправедливостью власти или ещё хуже — абсолютного правителя огромной страны, отца народов? Сейчас-то мы знаем, что за кровавадный клещ управлял нами четверть века, но тогда, спустя всего шесть лет после великой победы, начинающаяся травля евреев вызывала болезненное изумление несчастного народа-космополита. За что?!

Для Иосифа пустые придирки по поводу немарксистской трактовки законов развития социалистической экономики и критические выступления коллег на партактиве института обернулись требованием исключить его из партийных рядов. И что вы думаете? — коллеги единодушно проголосовали за исключение. Иосиф знал, чем кончаются такие разборки.

Тридцать седьмой год многому научил тех, кто хоть немного разбирался в политике, а ему в тридцать седьмом стукнуло 33. Возраст Христа, который, по его мнению, не существовал вовсе. Думая не столько о себе, сколько о своей семье, Иосиф решил, что самоубийство поможет отвести беду, что его любимую и сына не выселят в Сибирские лагеря. В ближайшей аптеке он купил упаковку люминала и перед сном выпил со стаканом воды. Через час Мара пробудилась, услышав стон и прерывистое дыхание мужа. Она пыталась его разбудить, но он не реагировал на её попытки. В панике она набросила пальто, сунула ноги в валенки и понеслась к поликлинике. Телефонов тогда почти ни у кого не было. Полчаса она бежала по освещённой луной дороге и с бешено колотящимся сердцем начала стучать изо всех сил в запертую дверь санатория и звонить в звонок. Через пять минут появилась недовольная заспанная рожа дежурного врача, которому она крикнула:

— Скорее! Мой муж умирает!— и рухнула без сил на крыльцо. Прошло ещё пять минут, пока врач связался с неотложкой, потом полчаса машина ехала до их дома. Мара со страхом думала, что Иосифа уже нет в живых.

Впереди с водителем сидела молодая женщина-врач, а напротив Мары старенький фельдшер. Они вошли в дом, было тихо-тихо. Только в дверях спальни они услышали прерывистый вздох. Врач быстро подошла к Иосифу, подняла веки.

— Зрачки расширены, на свет не реагируют, есть признак острого отравления,— сказала она. Фельдшер наклонился над пострадавшим, потрогал руки, приложил руку к сонной артерии.

— Скорее всего, отравление снотворным. Поищите-ка, голубушка, нет ли где поблизости пустой склянки от лекарства, а мы будем его отравлять в больницу, авось выживет.

Мара выскочила на кухню, сунулась в мусорное ведро и тут же нашла упаковку от люминала.

— Люминал! — закричала она и зарыдала.

— Вы чем истерику закатывать, помогите-ка лучше упаковать вашего мужа в машину. В нём пудов шесть наберётся, — сердито сказал фельдшер.

Мара бросилась помогать, потом побежала к соседке Асе, разбудила и попросила присмотреть за Эдиком с утра, пока она будет в больнице.

— Как же ты мог! Как же ты мог так с нами поступить? — пеняла она мужу, едва он пришёл в себя.

— Марика, дорогая, ты не представляешь, чем может для всех нас кончиться моё исключение из партии.

— Да я плевать хотела на твои дела. Вон сколько у нас беспартийных, и все живут, работают и не протирают портки на собраниях. Рабочему человеку неча там делать, ему семью кормить надо. Вот и ты — поправишься и ступай на завод работать. Проживём как-нибудь. Ты лучше про Эдика думай, кем он вырастет...

— Ты права, Марика, прости меня-дурака. Ты иди к сыну, а я ещё денёк полежу, приду в себя.

Десять лет спустя, они стыдливо признались друг другу, что более всего были счастливы с сорок пятого по пятьдесят первый годы, те годы, когда большинство народа не было уверено, что пообедав сегодня, сможет поесть и завтра, а ходили люди в довоенных обносках и не было у них денег ни на что, и спали люди, где придётся, потому что жильё везде, кроме столицы было разрушено войной. И всё оставшееся голодное и грязное поголовье, ведомое великим вождём и учителем, именовалось — народ-победитель.

А вот у них всё-всё было, и их считали богачами. Они обожали принимать гостей. На столе всегда стояла тарелка с домашним салом в мясных прожилках, дымился отварной картофель со своего огорода, хрустящие солёные огурцы и квашеная капуста, тонко нарезанная, твёрдая как камень копчёная колбаса и украшение стола — кисло-сладкое жаркое из говядины по рецепту Берты Абрамовны, Ленкиной

бабушки. Когда тётя Мара вносила в столовую казан с жарким, дядя Иосиф всегда говорил:

— А это наше знаменитое *Эссе-Флиешь*.

\* \* \*

До нового 1953 года оставалось недели три, не более, когда Иосиф смог приткнуться в планово-экономический отдел одного предприятия лёгкой промышленности. Он заполнил анкету, где отрицательно ответил на вопрос, является ли он членом ВКП(б), а то что он еврей, у него было написано на лице, но директор предприятия нуждался в энергичных людях, поскольку партия взяла курс на рост лёгкой промышленности на предмет всемерного удовлетворения потребностей советских людей. Отдел кадров тоже не проявил необходимую бдительность в духе тридцать седьмого года, так что дядя Иосиф к новому году уже принёс в семью первую получку.

Смерть тирана-параноика пришлась весьма и весьма кстати. Приехавший в конце мая в гости с семьёй Соломон Резник, отец Леньки, полущёпотом рассказывал Иосифу, что ситуация в начале года была такова, что евреи стали организовывать отряды самообороны, и он лично вступил в один из отрядов... Дальше Ленька не слышал, потому что Эдик поволок его во двор гулять и проказничать.

Ленька потом, когда уже стал студентом, вспоминал, как его отец и дядя Иосиф уединялись в конце сороковых годов и тревожно о чем-то шептались. За столом, перед зрелищем аппетитной закуски настроение всегда повышалось, но шутки имели какой-то специфический оттенок — часто цитировали Грибоедова или других классиков, иногда забавно переставляя слова или добавляя новые из современного обихода. Однажды Ленька подслушал, как его отец спросил у дяди Иосифа:

— Вот сейчас прошли очередные выборы в Верховный Совет и в газетах написали, что это новая победа нерушимого

блока коммунистов и беспартийных. Скажи-ка мне, над кем это блок одержал победу?

Дядя Иосиф долго смеялся, а потом сказал Ленке:

— Твой папа очень умный!

\* \* \*

А что же Эдик — гордость тёти Мары? Каждый раз, когда она появлялась в Москве и заходила к Резникам, она добрую половину времени рассказывала о необыкновенных успехах сына. Он учился на круглые пятёрки и мечтал стать инженером-конструктором. Всё свободное время дома он что-то строил. Родители часто покупали ему детские наборы металлических деталей и когда Ленка с мамой приезжал в Ховрино, ему тоже давали коробку с деталями и говорили:

— Давай, построй что-нибудь интересное, как Эдик.

Но Ленке было скучно возиться с железками. Он шёл к книжному шкафу в кабинете, где обычно работал дядя Иосиф, брал книжку Жюль Верна или Даниэля Дефо, садился на кожаный скользкий диван и читал до самого отъезда. У Резников в те времена детских книжек почти не было, а денег хронически не хватало на самое необходимое.

Мама временами устраивала папе сцены, что вот, мол, они никуда не ходят, ничего не видят... При этом она верещала каким-то противным куриным голосом, от которого Ленке хотелось плакать. Папа в своих круглых толстых очках при этом молчал, склонялся над чертёжной доской и продолжал чертить «халтуру». Таким он и запомнился Ленке, стоящим воскресным утром над листом ватмана и насвистывающим симфоническую музыку. Надо сказать, что свистел он потрясающе — можно было не ходить в концерты.

Эдик и его семья были совершенно немusыкальны. Эдик возмущённо рассказывал, как его повели на ёлку, а там вдруг вышел человек со скрипкой и начал пищать так, что уши заложило. И вообще он ненавидит, когда по радио играет Ойстрах.

Когда тётя Мара наезжала в Москву, она непременно рассказывала о том, что все вокруг восхищаются Эдиком.

— Представляешь, — говорила она маме, — поехали мы на автобусе на прошлой неделе, и вошла на остановке пожилая женщина, так Эдик встал и уступил ей место! Та женщина прямо остолбенела и сказала, что такое она видит впервые.

А однажды тётя Мара приехала к Резникам на ночь глядя, растрёпанная и бледная, и с нею бледный и растерянный Эдик. Оказывается, он строил дом и, сбивая планки, держал гвозди во рту. И не заметил, как проглотил гвоздь. Он подошёл к дяде Иосифу и сказал:

— Папа, я сейчас проглотил гвоздь. Нечаянно.

Тут дядя Иосиф вскочил со стула и неудачно, потому что упал и сломал руку. А тётя Мара схватила Эдика и как когда-то в ночь — понеслась к подруге-врачу спасать сына. Они вместе вызвали неотложку и помчались в Филатовскую больницу. Там сделали рентген и сказали, что ничего страшного, но пока гвоздь не выйдет, лучше особенно не бегать и не прыгать и есть тёртую морковку, овсяную кашу и мелко порезанные яблоки. Пока гвоздь не вышел, тётя Мара почти не спала ночью, всё караулила, не случится ли что-нибудь ужасное.

Эдик рос и с ним росли опасности, которым он себя подвергал. Родители купили ему ко дню рождения велосипед. Он перебрал его до винтиков, мастерски отладил и всё свободное время гонял по посёлку, вызывая ненависть местных жителей. Он дал слово не выезжать на шоссе и пересекать железную дорогу только пешком. Однажды посреди дороги строители вырыли глубокую яму и, как это у нас принято, не поставили ни знака, ни ограждения. Эдик, как всегда, летел по улице и нырнул в эту яму. Когда он весь в крови пришёл домой, у тётя Мары подкосились ноги. Слава богу, кости и позвоночник остались целы. Она взяла себя в руки, промыла все раны, особенно тщательно на лице, сначала водой с мылом, потом перекисью, а потом присыпала все порезы и ссадины пенициллином. На следующий день она

пригласила старенького доктора Сизова из хирургического отделения для консультации. Как, мол, дальше выхаживать сына? Увидев её работу, Сизов чуть не расплакался от умиления.

— Умница, умница! — всё повторял он, целуя её руки.

В те патриархальные годы о деньгах за визит к собрату по профессии не могло быть и речи, так что Мара накрыла стол и угостила врача *чем бог послал* и поднесла рюмочку.

Наступило время сдавать экзамены в институт. Эдик выбрал авиационный. Умные люди говорили Маре, что надо бы поменять фамилию на русскую, но Эдик при первом же намёке резко отказался и попросил никогда к нему с этим не обращаться. Но это было позже, гораздо позже, когда Эдик уже поступил, и тётя Мара приехала к маме похвастаться. Всё-всё было пересказано в лицах и для скорости тётя Мара всё время приговаривала:

— Он грит... а я гррю...

Ленька это заметил и стал передразнивать, а мама, как дурочка, стала подсмеиваться. Тут тётя Мара не выдержала и дала Леньке урок вежливости (и маме заодно).

Вообще-то она от природы была исключительно выдержанным и тактичным человеком. В ней было что-то общее с Наташей Ростовской, как её нам показал Лев Толстой. Гармония светлого духа и сильного здорового тела. Ленькина мама чувствовала превосходство подружки Мары в чем-то очень важном, может быть, это была смелость жить, не заискивать перед начальством или сильными мира сего и главное — не завидовать.

Мама считала папу рохлей, потому что тот, будучи членом партбюро института, так и не смог добыть для семьи хотя бы однокомнатную квартиру. В конце концов, после вылизывания главного врача и многочисленных ходатайств перед исполкомовским начальством, семье Резника выделили жалкую квартирку-распашонку в доме-хрущевке с окнами на гремящий трамвай, где мама сразу заставила папу поставить деревянные ящики на балконе и посадить

вьющиеся растения, которые хоть немного защищали бы комнаты от палящего летнего солнца. Но это произошло только в 1961 году, а шестью годами раньше мама приобрела с папиной годовой премии чёрную, шелковистую кроличью шубу «под котика» и черно-бурую лису. В первый же выходной она заставила папу увековечить этот момент на фоне заснеженного 4-го Лесного переулка рядом с разваливающимся от старости деревянным двухэтажным домом, в котором они жили вчетвером.

Относительное равенство с подругой Марой наступило лишь через двадцать лет после окончания войны, когда Солломон Резник купил домик с садовым участком в подшефном хозяйстве экспериментально-технологического завода. Мама полностью отдалась разведению цветов и когда участок запылал оттенками розового, красного и жёлтого, пригласила Мару с Иосифом отпраздновать своё торжество. Теперь она сравнялась с подругой в достатке. Правду сказать, к этому времени Ховрино уже вошло в городскую зону и Гринберги имели шанс на нормальную квартиру по хорошему проекту с большой кухней. Мара искренне радовалась маминemu счастью и дала несколько практических советов, в частности, она сказала, что цветы нужно сажать отдельно от овощей, даже лучше разделить их сухой дорожкой, не то гусеницы пожрут овощные культуры.

Эдик в отличие от трусоватого Лёньки считал, что всё в жизни надо перепробовать и в то время как Ленька перебирал лыжами по Измайловскому парку, Эдик уехал на Кавказ учиться горнолыжному спорту. Там он вскоре сломал руку и вынужден был воротиться. Мама, узнав эту новость от Мары, после её ухода ехидно проехала о неудачливости Эдика, который всё время ломается, но Ленька ему всё равно завидовал.

В следующий раз Мара приехала и со смехом стала рассказывать, что Эдик прыгал с парашютом (там, в авиационном институте у них, кажется, был спортивный кружок, а может быть это входило в нормативы для учащихся). Когда она

узнала, у неё подкосились ноги от страха, и она хотела заплакать, но Иосиф сказал:

— Что ты дрожишь? Ведь он уже прыгнул!

\* \* \*

Однажды летом сорок седьмого мама договорилась с тётёй Марой, что Ленька поживёт у них в Ховрине, подышит свежим воздухом. Никогда Ленька до тех пор не получал такого удовольствия. Он просыпался раньше Эдика и шёл краем огорода в туалет мимо цветущей «акации», как называют в народе курганник. Пчёлы жужжали на утреннем солнце, им тоже очень нравились ярко-жёлтые сладкие цветки. Ленька срывал их и обсасывал нектар. Тётя Мара уже всюю вкалывала на огороде и весело кричала ему:

— Ленька, что так рано поднялся? Поспал бы ещё, а?

Потом появлялся Эдик, и тётя Мара кормила их замечательной манной кашей с клубничным вареньем. Впереди был бесконечно-огромный летний день, и они с Эдиком бесились от безделья, потому что это был век пустого эфира и если ты хотел развлечений, то должен был развлекать себя сам. Игра с конструктором, которым так увлекался Эдик, всё-таки рассчитана на одного. Если присоединяется второй, то что, спрашивается, он может делать? Подавать детали?

Две недели у тётёи Мары пролетели, как ласточки-стрижи, и скрылись. Ленька потом тайком вспоминал, как тётя Мара на полдник дала им по стакану молока из погреба и к нему по горке из остатков печенья. Леньке, как гостю, досталась горка из ломаных кусочков, а Эдику — горка из порошка, которую он слизывал, далеко высунув язык, и Ленька при этом опять ему завидовал.

Самое удивительное, что к лету 1951 года папа и мама ухитрились накопить денег и мама торжественно объявила в конце июля, что они всей семьёй едут отдыхать на Чёрное море в город Сочи. Это премия Леньке, который окончил

шестой класс с похвальной грамотой. Гринберги уже при-смотрели им комнату в районе Нового Сочи близко от моря. У дяди Иосифа, поскольку он был доцентом, был громадный отпуск — два месяца, так что когда Резники появились на вокзале, тётя Мара с букетом цветов встречала их, закопчённых и замотанных вагонной тряской, как старожил, который знает все ходы и выходы. Мама всю дорогу пилила папу, что он достал билеты в самый отвратительный вагон какого-то пригородного поезда, а она мечтала ехать в «цельнометаллическом». Ленька понятия не имел, что это такое. Пару раз, когда он высовывался из окна, ему в глаз попадали кусочки угля, которые ужасно кололись, и мама уголком носового платка, смоченного остатками чая, выживала их. Встретившись на перроне с Марой, мама тут же опять обругала папу, но это уже было в последний раз, потому что Юг есть Юг. Гринберги были совершенно чёрными от загара и сильно помолодевшими. Все запихнулись в автобус и через полчаса прибывшие уже стояли перед белёной мазанкой, за которую Соломон Резник тут же внёс совсем скромные деньги, после чего хозяева пригласили их отведать густейшего и огневого украинского борща. Ленька терпеть не мог борщей и побежал с Эдиком осваивать окружающий пейзаж.

Кругом всё поражало — настоящие лианы, переплетающие дикий инжир, совсем как в фильме «Тарзан», огромные стручки акаций, какие-то неведомые деревья, гладкие стволы которых были покрыты пучками страшных колючек, напоминающих сапожные иглы. Их, наверное, древние люди использовали для наконечников стрел...

— А где же море?

— Там, близко, ещё минут пять идти. Пошли?

— Надо родителям сказать, а то мне влетит.

— Ну, где вы бегаете? — возмутилась мама. — Все уже собрались к морю. Лёня, возьми полотенце и трусики. Всё. Пошли! Господи, неужели я сейчас смою с себя эту паровозную копоть!

Нет, вы всё-таки не понимаете, что значит впервые увидеть море в двенадцать лет. Перед этим Ленька был в пионерском

лагере, где научился проплывать два метра в узкой и мутной речонке, извивающейся вокруг территории, так что папа с мамой с удовлетворением заметили, что он уже держится на воде. Вот, Ленька и сунулся в воду на третий день, ещё не научившись как следует плавать. Он уже привык, проплыв несколько метров, обязательно стать на ногу и почувствовать дно, а тут он попал, наверное, в яму, так что быстро ушёл с головой. Перепугался страшно, вода над головой журчит, махал руками, ногами — и всё ни с места. А воздух в лёгких кончается! Раскинул он руки со стоном, с последними остатками воздуха, и вдруг волна его мягко подтолкнула к берегу, и он обессиленный поплёлся, а тут глядит — тётя Мара стоит на берегу и на него смотрит. Ну, он не стал плакать, рассказывать, что чуть не утонул. А тут и все остальные подошли, весёлые и довольные жизнью. Мама тут же пошла в тень. Никто из их семьи не загорал, как все рыжие, потому они только обжигались, краснели под солнцем, а потом краснота сходила и оставался бледно-бежевый оттенок, как у мороженого «крем-брюле». А тётя Мара была цвета шоколада и притом она была худенькой и мускулистой, и мама сказала, что когда Мара лежит на пляже, закрыв лицо косынкой, то ей никак не дашь больше восемнадцати, а мама в это время уже была пышной женщиной тридцати пяти лет и очень гордилась, что у неё на локтях «ямочки». А мускулов у неё никогда не было, потому что она после работы в трамвайном депо перед рабфаком никогда не занималась физическим трудом.

Самое замечательное, что произошло в первую неделю, — Ленька стащил у папы две папиросы «Дели», и они с Эдиком забрались на крышу сарая и там славно покурили, а потом заели хлебом с зелёным луком, чтобы их не застукали.

Папа с дядей Иосифом под вечер не спеша гуляли вдалеке и, видно, вспоминали молодость... На самом деле они пытались понять, куда идёт страна, не только залечивающая раны, нанесённые войной, но и обогнавшая американцев в создании сверхмощного атомного оружия. Дядя Иосиф считал,

что пора уже оставлять принципы командной экономики, когда всё делалось только для победы, что нужно постепенно переходить к строительству жилья, выпуску товаров для населения (развивать, так называемое, промышленное производство группы «Б»). Все наши пятилетки планировались Госпланом, но папа сказал, что они не могут не ошибаться в реальном положении дел с выпуском продукции, потому что всё держится на страхе, и мелкие начальники пишут липовые отчёты, только бы усидеть в кресле, а Госплан включает эти данные для планирования следующей пятилетки, и ни к чему хорошему это не приведёт. Потом папа рассказал анекдот, как во время Первомайского парада демонстрируется наша могучая боевая техника, а заключают парад люди, одетые в гражданские костюмы. Поляки, чехи, венгры спрашивают у наших генералов, кто эти люди, и один из наших отвечает:

— Это Госплан. Оружие огромной разрушительной силы.

Дядя Иосиф очень смеялся и когда они прощались, опять сказал Ленке, что его папа очень умный.

Когда всей компанией возвращались домой, мама рассказывала анекдот про еврейское счастье и при этом непрерывно хохотала, а тётя Мара шла с Ленкой впереди и сказала вдруг:

— Видишь, Лёня, какие мы весёлые? А через двадцать лет, вы с Эдиком будете, как мы, а мы превратимся в старушек и будем шепелявить *«Шкажи Шоня, как ты шегодня шпала...»*

Но она, такая загорелая, сильная, гибкая, ласковая, добрая, как Ленка понимал, сама не верила, что станет такой старухой. А папа мрачно добавил к маминому анекдоту:

— Еврейское счастье — это маленький промежуток между двумя еврейскими несчастьями.

Да... А потом вскоре начался кошмар с космополитами, и в Ленкином классе стали всё громче высказываться русские друзья, ненавидевшие евреев и, когда завели дело врачей, к нему стали приставать с вопросом, зачем он, сука,

убил Жданова. Как чувствовал себя при этом Эдик Гринберг, сказать трудно, поскольку он учился в обычной поселковой школе, мальчишки на эту тему не общались, а тётя Мара, когда приезжала к маме, говорила, какие кругом люди бессовестные, и куда смотрят Сталин и Молотов.

Ну, чём всё кончилось, уже давно все знают, но важно, что дядя Иосиф был реабилитирован в пятьдесят шестом году и принят снова в преподавательский состав, что вообще-то, случай редкий. Когда он испытующе поглядывал сквозь очки на коллег по кафедре, некоторые не выдерживали и говорили:

— Иосиф Борисович, нам велели, и мы делали, что велели. И вы так же поступили бы. Есть-пить, детей растить надо, никуда не денешься.

Наконец, Соломону Резнику дали однокомнатную квартиру площадью аж целых шестнадцать метров с копейками в здании бывшего общежития, но с собственной ванной комнатой, отдельной уборной и кухней. Мама была горда и счастлива, хотя в глубине души понимала, что для семьи из четырёх человек этого маловато, да и дети были разнополыми. У Мары, конечно, жизнь более роскошная — три комнаты, но нет газа, по-прежнему готовит на дровах. В общем, с учётом городских удобств с Марой сравнялись.

Приехали Гринберги на новоселье.

— Марка — свиня, подарила духи «Кармен» и газовый пла-точек!

Мама всегда очень придирчиво относилась к подаркам и обижалась, если подарок оказывался слишком дешёвым, по её мнению. Мужчины после плотного ужина, как всегда заговорили о политике, а женщины пошли на кухню мыть посуду и сплетничать.

— Как ты думаешь? — спросил папа, — будут ли подвижки в хозяйстве? Поговаривают, что собираются вносить существенные изменения в конституцию...

— Понимаешь, Сол, объявленный возврат к ленинским нормам партийной жизни, пока что означает лишь, что

сажать и расстреливать по доносам или по произволу пока не будут. Но материальная база должна меняться, иначе мы не выдержим соревнования с капитализмом. А пока наверху нет никакой позиции, и наши академики боятся оторваться от спасательного круга, именуемого марксизмом. А Маркс, к сожалению, сам не знал, как строить социализм. Я бы предложил товарищам по партии вернуться к *НЭПу* и осторожно начать внедрять его элементы, оставляя основную массу производственной базы у государства. Это позволит в считанные годы накормить и приодеть страну...

Сейчас, как мы слышим, там начались баталии по поводу освоения целины в Казахстане. Может быть решат, наконец, проблемы с хлебом. Сейчас мы знаем, что народ у нас практически годами голодал, а мы экспортировали зерно, потому что нужны были деньги на строительство заводов и военные расходы. Уму непостижимо, как мы ухитрились в разорённой стране создать атомную бомбу, а потом опередить американцев с водородной бомбой!

— Ну, ладно, — сказал папа. — У Эдика последний класс. Идёт на медаль? Куда собирается поступать? В Авиационный? А мой решил стать химиком-технологом, только вот, поступит ли... В последнем классе разленился, девочки, танцующие западные, нравятся стилиаги, он им завидует...

Так ты думаешь, что освоение целины накормит страну? На мой взгляд, ушли люди, которые умели вести сельское хозяйство, да не просто ушли, их истребили и будет ли возрождение, я не уверен. Скорее, я не уверен, что увижу его хоть в конце жизни.

— Понимаешь, Сол, давать прогноз даже мне, экономисту по специальности, самое дохлое дело. Слишком глубокие изменения произошли с народом. У меня иногда закрадывается грешная мысль, что мы вместо движения по пути социального прогресса провалились в рабовладельческое общество, где все подчинялись фараону, и сейчас нами правит новый фараон, помягче характером и, может быть, даже поглупее прежнего. Про него уже всюду идут анекдоты и истории,

похожие на анекдоты. Мне на учёном совете один профессор рассказывал, как ему жаловался сельскохозяйственный академик на Хрущёва. Приехал тот инспектировать нашу Тимирязевскую академию, и говорит:

— А вам, товарищи-учёные, нужно быть ближе к земле, есть у нас планы переселить вас сельскую местность, а то из ваших кабинетов вы не видите проблем сельского хозяйства.

Потом вызывает нашего академика-картофелевода и говорит:

— Есть у меня идея: для уборки картофеля использовать стада свиней. Они ведь привычные пяточком выковыривать еду из земли, так?

Наш академик совсем растерялся, отвечает:

— Никита Сергеевич, свинья это ж животное, она ж не ображает, сколько картофеля останется в земле...

Хрущёв долго молчал и пыхтел, а потом сказал:

— А я-то думал, что ты умный человек...

\* \* \*

Ленька уже учился на первом курсе химического вуза, учился паршиво, едва справлялся с контрольными и еле-еле вытягивал «уды» на коллоквиумах, однако уже точно знал, что Хрущёв — дурак и всем пересказывал анекдот, как один студент назвал Хруща дураком и получил 23 года тюрьмы: три года за оскорбление личности и двадцать за разглашение государственной тайны. В ближайший приезд Гринбергов он поспешил поделиться с дядей Иосифом этой тайной, но тот с неопределённой ухмылкой промолчал, а папа просто сказал:

— Ёся, извини моего болтуна. Он ещё совсем зелёный и не знает, чем пахнут политические анекдоты. Ты слышал что-нибудь о расстреле рабочих в Новочеркасске?

— По «Голосу Америки» передавали, ну кто-то у нас слышал, а кто-то и английский понимает, на английском почти не глушат...

— Как думаешь, опять тридцать седьмой?

— Нет, после двадцатого съезда, это стало невозможным, но делать гадости людям и затыкать рты, конечно, будут. И знаешь, я пришёл к мысли, что экономические законы сами съедят нашу систему, если их неправильно использовать...

— И как скоро это произойдёт?

— Я бы не стал предсказывать. Страна у нас очень богата ресурсами. Если мы не втянемся в очередную политическую авантюру, можем продержаться ещё лет сто. Скажу тебе — мы настолько раскачали мир нашей победой над фашизмом, что на наших глазах рушится старая колониальная система. А к чему это приведёт, я не знаю... А Лёня твой в чем-то прав. С этим дураком мы чуть не влетели в ядерную войну с Америкой. Если такое случится — всем конец.

— Но есть же масса положительного? Смотри — начали массово строить жильё... когда это было? Вот и вы скоро получите квартиру. Тебе, как участнику войны наверняка дадут быстрее, чем другим.

\* \* \*

Дядя Иосиф был на двенадцать лет старше тёти Мары. Ему в 1962 году исполнилось шестьдесят, и заведующий кафедрой стал настойчиво напоминать ему, что надо уходить на заслуженный отдых, давать возможность молодым поработать и продвинуть вперёд учение об экономике зрелого социализма. К тому же, уважаемый Иосиф Борисович хоть и числится доцентом, а диссертацию защитить не удосужился, а сейчас все доценты имеют кандидатские степени...

Спорить было бесполезно и дядя Иосиф вернулся на то предприятие, которое приняло его в те страшные годы на работу. Зарплата там была, конечно, не та, что на кафедре, но что поделаешь? Тётя Мара пошла работать медсестрой в ближайшую поликлинику. Эдик заканчивал с отличием институт, ему предложили работу на оборонном предприятии, связанном с космическими программами.

Действительно, Гринберги к концу 1966 года получили квартиру, которая, хотя и была ближе к Уралу, чем к Кремлю, как тогда шутили, но поскольку Эдик уже стал отцом семейства, им на пятерых дали большую трехкомнатную квартиру с видом на истерзанный тракторами пустырь. Лет за пять до того тётя Мара потешно рассказывала, как девчушка, ставшая впоследствии её невесткой, окручивала Эдика. Она была до того в него влюблена, что готова была стоять на морозе и ждать, пока он появится после своей возни в сарае с техникой, а техники там было до потолка. Тётя Мара загоняла её в дом и отпаивала горячим какао, поскольку считала его ещё с военной службы напитком, который удесятерляет силы.

Когда мама сравнивала квартиры Резников и Гринбергов, она всегда добавляла, что зато у нас квартира в пяти минутах от метро, а у них на *выспе*. Что такое *выспа*, Ленька не знал, но кто-то сказал, что это на еврейском означает *пустыня*.

Естественно, с получением квартиры Гринберги утратили свой участок земли, с которого кормились долгие годы, но Мара ничуть об этом не жалела, сказав маме, что она достаточно наломала спину на свежем воздухе и теперь с радостью отдыхает и смотрит, как Соня и Солик машут граблями. Годы шли. Друзья так и не собрали денег на машину, ездили городским транспортом, только Эдик гонял на работу на мотоцикле в любую погоду.

Его работоспособность нравилась начальству и к 1969 году он уже был ведущим инженером проекта. Дядя Иосиф со сдержанной улыбкой рассказывал, как Эдика с женой отправили с заданием проверки работы будущего советского лунохода в Казахстан и они ехали в купированном вагоне с другой парой и старались не проболтаться, а потом выяснилось, что те из другого КБ тоже направлены для проверки работы космических образцов оборудования.

Ленька выбрал себе путь поскромнее и полегче. Один хороший человек из его отдела, с которым он часто курил на лестничной площадке, порекомендовал ему пойти в аспирантуру к одному молодому доктору наук. Ленька побежал

в институт Академии Наук и был принят. Пока он возился с анализами горных пород, в их институт привезли образцы лунного грунта, которые наскрёб наш аппарат на Луне. Ленька пошёл в актовЫй зал, где стоял микроскоп, и вместе со всеми поглядел на серебристый песочек. Но он тогда знать не знал, что Эдик участвовал в разработке наших Лунников. Вообще, когда они повзрослели, дружба их прервалась, потому что они перестали ездить в гости с родителями.

Тётя Мара с восторгом описывала, как по случаю удачного возвращения космического аппарата с пробами было собрание в актовом зале предприятия и там в президиуме сидел какой-то партийный чин (скорее всего, кагэбэшник), который придирчиво изучал список приглашённых сотрудников, которым собирались вручать медали. И вот, этот гад увидел фамилию Гринберг и обратился к сидящему рядом генералу Семёнову:

— А это был мой родной брат Колька! — засмеялась тётя Мара.

— Что? — спросил этот гад, — без гринбергов нельзя было обойтись?

— А Коля отвечает: «Значит нельзя! Кстати, это мой родной племянник».

— У того гада прямо челюсть отпала!

Мама слушала Мару без особого энтузиазма. Она вообще не очень-то любила рассказы о чужих успехах. А кто, скажите, любит чужой успех? Она, конечно, могла бы упомянуть, что Ленька учится в аспирантуре и будет кандидатом наук, но это она уже говорила в прошлый приезд Мары, а нового ничего не было. Честно говоря, Ленька в те времена был глуп, как бабий пуп, но мама никогда бы этого не сказала, поскольку не очень понимала разницу между умным, талантливым человеком и посредственностью, потому что и сама была женщиной очень средних способностей, хотя и мыслящей рационально, когда это касалось личных интересов. Она очень уважала звания и чины и со значением говорила

посещавшим знакомым, к примеру, что Иосиф Гринберг — доцент, а Николай, брат Мары — генерал! Спустя три года после описываемых событий, она всем рассказывала, что её сын кандидат и работает на кафедре.

А за эти три года у Гринбергов произошло очень скверное событие: пришёл Иосиф с работы, сел на диван, хотел что-то рассказать Марике — и вдруг умер. Прожил всего 70 лет. Наряду на кладбище собралось немного. Старший брат Михаил Соколов лежал с инсультом, пришли сёстры Мары Оля и Поля и их дети, Соня с Соломоном и несколько человек с работы. Брат Коля приехал с группой солдат Московского гарнизона, те дали три залпа в честь покойника, который был участником войны. Потом за поминальным столом Мара, выпив пару стопок, горевала:

— Не могу понять, как он так быстро ушёл! Я-то думала, что вот, если он смертельно заболевает, я буду за ним ухаживать... облегчать его боль... Потом он скажет мне что-то на прощанье...

Вполне сочувствуя Маре, мама стала как бы ведущей в новых отношениях в том смысле, что могла себе позволить некие поучения, как надо правильно жить. Она даже позволила себе однажды намёк, что Мара ещё молодая женщина и может связать свою судьбу с положительным и обеспеченным человеком. Мара при этом так взглянула на маму, что советчица поперхнулась чаем и больше никогда по поводу вдовства подруги не выступала.

Младшая сестра Поля ушла раньше всех, заболев вирусным гриппом, который перерос в отёк лёгких. Её дочь Татьяна как раз в эти ужасные дни обратилась к маме за помощью, и мама сделала всё от неё возможное, как врач и как друг семьи, так что несмотря на трагический исход, между мамой и Татьяной установились близкие отношения. Мара была далеко и стала всё реже навещать маму, а Таня регулярно звонила маме и сообщала, как идут дела в семье и как здоровье Мары. В один из июльских дней Мара позвонила маме

и объявила, что им поставили телефон вне очереди, потому что Эдик стал начальником отдела и ведёт очень важную работу, о которой никто не должен знать. Мама искренне её поздравила и тут же пригласила приехать на дачу и побыть вместе пару недель, так как у неё отпуск.

Они отлично провели время. Мара с удовольствием помогала Соне окучивать и пропалывать, собирать падалицы и при этом болтать-болтать-болтать, как в юности — обо всём и ни о чём. Потом, спустя месяц, Соня, правда, признавалась мужу Солику, что Мара совсем не выросла духовно за те сорок лет, что они знакомы, никаких толстых журналов она не читает, они ей скучны, газеты просматривает после Эдика перед тем, как выбросить, смотрит телевизор. Конечно, ни в какие театры она не ходит и в кино тоже. Хвастается, как прежде бывало, всем, что у неё есть: внуком и сыном, и даже у невестки, которая такая же курица, как она сама, находит массу положительных качеств. Телевизор у них цветной с огромным экраном. Эдик купил в подарок к её дню рождения. Но в общем, Марка — свой, родной человек. Слушай, а может нам тоже купить? Я смотрела в магазине — ну такой огромный, под него надо большую подставку покупать, а квартира у нас маленькая... Да и денег жалко...

\* \* \*

Разница отношений в дружбе мамы и тёти Мары, как потом вспоминал Ленька, заключалась в том, что мама желала, чтобы её ценили за сделанное людям добро, а тётя Мара воспринимала Соню, как близкого старого друга, с которым просто нелепо вести бухгалтерию. Сам Ленька знал, какой противной во время семейных разборок может быть мама, сколько гадостей она способна наговорить, если почувствует себя оскорблённой. Особенно она злилась, когда Ленька, устав от её самовосхвалений, начинал ей дерзить. Она становилась ядовитой, как кобра. Потом он переживал, но

виноватой во всём считал маму и старался навещать её пореже, а это вызывало у неё новое раздражение — сын не имеет права забывать, чем он обязан матери! Почему он не приезжает помогать родителям на даче? Кто возился с его сыном, когда тот долго болел, и никто не мог его вылечить, пока она, мама, не взялась и не поставила мальчишку на ноги?!

Мама чувствовала огромное преимущество перед тётей Марой, потому что та замкнулась в кругу своей семьи, а мама продолжала и продолжала работать в больнице, устраивая друзьям и знакомым консультации, помогала с направлением на лечение в стационарах, сама лечила весь персонал больницы, но в первую очередь, конечно, главного врача и её прихлебателей. А кто, спрашивается, помог Ленке обменять свою дефектную квартиру на первом этаже напротив помойки на новую? — Она, мама, через своего главного врача!

Конечно, противно, когда тебе непрерывно напоминают о благодеяниях. Так не пользуйся! Живи самостоятельно, плати за услуги или отработывай. Кто тебе сказал, что долг родителей перед детьми не имеет срока давности? Ты сам себе это внушил, чтобы не считать себя в душе неблагодарной скотиной. Ленкин друг Лёвка, филолог, заявлял, что человек, творящий добро, уже вознаграждён сознанием своего благородного поступка и не должен ждать проявлений благодарности. И вообще, добро лучше всего делать тайно. Очень интересно! Какой блеск филологической мысли! Если я хочу подарить сыну пятьсот рублей на день рождения (а это мой двухмесячный заработок), я должен подсунуть конверт под дверь, позвонить и убежать? Или поехать с сыном в метро и незаметно всунуть деньги ему в карман пальто?

— Умный человек, которому помогли, обязан предвидеть и не допускать ситуаций, когда ему могут напомнить о долге, — думал Ленка. — Если он действительно умный. А я, видимо, не шибко умен... А с другой стороны, — лучше не делай ничего для других, чем потом звонить об этом на всех перекрёстках.

Тётя Мара такими сложными умозаключениями не баловалась. Мир был в её голове устроен проще. Когда внук вырос и выяснилось, что вырос обалдуй, который учиться не хочет и работать не хочет (а за такими как раз и охотятся военкоматы, чтобы послать пушечное мясо в очередную Российскую авантюру-мясорубку), ему вручили повестку в военкомат. Мара позвонила Соне, и Соня сказала, что постарается помочь. Так совпало, что Эдик приехал в мамину больницу как раз, когда Ленька в очередной раз мучился бессонницей и нервическими припадками, и мама пристроила его к своей подруге-невропатологу на пару недель отдохнуть и подлечиться.

Они не виделись лет пятнадцать, с похорон дяди Иосифа. Ради развлечения Ленька спускался с четвёртого этажа больницы корпуса на второй каждое утро, чтобы повидаться с мамой и поболтать перед началом приёма. Увидев Эдика в кабинете мамы, Ленька даже не сразу его узнал. Перед ним сидел мужчина с волевым холодным лицом в больших прямоугольных очках, который увидев Леньку, сразу дружелюбно сказал:

— Как дела? — словно они не виделись месяц.

— Да вот, пишу докторскую, — вяло ответил Ленька.

— Докторская диссертация — это неплохо, даже очень неплохо, — энергично сказал Эдик.

На этом разговор прекратился, так как Эдик приехал просить маму о помощи. Как потом Ленька узнал, она положила сына Эдика на обследование и там, разумеется, врачи нашли хроническое заболевание, спасающее от призыва в армию. А наша доблестная армия как раз в это время вела бесперспективную и изматывающую войну в Афганистане.

Ленька потом вспоминал краткую встречу в маминем кабинете *уха-горла-носа* и чувствовал запоздалое унижение от того, что Эдик так солидно, авторитетно похвалил его за стремление защитить докторскую. Тут бы спросить:

— А ты сам имеешь ли научную степень?

Как-то не догадался... А в сущности, что ему до семьи тёти Мары? Мамина старинная подруга... и что?

Время от времени мама говорила, что звонила дочка Поли и рассказывала подробно про всю оставшуюся семью. Видно, больше не с кем поделиться. Стало известно, что сын Эдика после получения повестки из военкомата сменил фамилию на Серегин, фамилию матери, потому что идти в армию Гринбергом — это всё равно как с верёвкой на шее... Потом позвонила сама Мара и горячо и долго благодарила Соню за спасение внука, звала отметить это радостное событие. Мама с усмешкой ответила:

— Мара, это мой врачебный и дружеский долг... слушай, Марка, что ты себе зубы не вставишь, шепелявишь, как старуха?

Мара ответила просто:

— А я и есть настоящая старуха, бабушка-бабулька... Ведь лет мне сколько? — семьдесят пять!

Тут Ленька припомнил, как когда-то в далёком детстве на берегу Чёрного моря тётя Мара говорила: — Шкажи Шоня, как ты шегодня шпала? — и горько усмехнулся.

Так всем миром и дожили до лихих девяностых. Однажды Леньке всё надоело, и он сказал маме с папой:

— Жить в этой стране становится всё тяжелее, мои занятия наукой никому не нужны, а воровать я боюсь и не умею. Вы оба давно пенсионного возраста и радуетесь, когда вам по талонам выдают гречку. Нечего ждать и надеяться. Я подаю на жительство в Германию, пока калитка не захлопнулась. Никакой резни в Германии не будет, немцы покаются перед всем миром. То, что вы накопили за свою жизнь — это хлам и грош ему цена. Подавайте вместе со мной документы! У вас будет спокойная и обеспеченная старость.

Родители поныли и согласились. Эмигрантская жизнь стариков — это тема уже совсем другого рассказа. Ах, если бы они хотя бы знали Идиш! Преступная власть сделала так, что все резники и гринберги ощущали комплекс неполноценности от своего происхождения, и великий русский народ искренне поддерживал мудрое правительство. Как ни странно,

все нерусские люди, кроме евреев, ничуть не стеснялись открыто и громко говорить на родном языке — в трамваях и метро, в ресторанах и в театрах, даже на работе и по телефону с семьёй в присутствии русских коллег и товарищей. А если стыдно или страшно пользоваться родным языком, на кой чёрт он нужен?

Ленька довольно быстро освоил немецкий и устроился в фармацевтическую фирму работать на хроматографе. О своей научной деятельности он предпочитал не распространяться, да его никто особенно и не спрашивал. Его кандидатская диссертация затерялась в пыльном прошлом, ничего в ней не было ценного, так же, как в тех хрустальных вазончиках, которыми так дорожила в своё время мама. А здесь, в эмиграции мама очень дорожила дружескими связями с теми знакомыми, которые остались в Москве, посылала им письма и звонила по случаю дня рождения или Нового года. С удовольствием звонила Тане, дочери покойной Поли и с жадностью расспрашивала, как поживает Мара и её семья. Что-то её удерживало от прямого звонка Маре, а та, вроде бы, и вовсе позабыла о прежней дружбе.

Лихие девяностые подходили к концу с лопнувшей, как мыльный пузырь, российской экономикой. В один из ненастных дней 1998 года мама позвонила Тане после весьма долгого перерыва и среди других новостей услышала, что Мара скончалась в возрасте 84 лет от неожиданно и поздно обнаруженного рака печени.

— Если бы вы только знали, тётя Соня, как она не хотела умирать! Как боролась за каждый час жизни!

Мама поделилась этой новостью с Ленькой в день своего 85-летия, и он с удивлением уловил в её голосе победные нотки.

## Настоящий друг

**ЛЁВА ЗВАЛ ЕГО МИКОЙ, ПОТОМУ ЧТО** так окликала его мама, когда звала обедать, и потом — они ведь сидели за одной партой два года в девчачьей школе, когда власти решили объединить мальчиков и девочек, а Сема звал его Мотеле. У них обоих была ярко выраженная семитская внешность, а Лёва был чуть рыжеватым, голубоглазым блондином.

А жизнь у всех сложилась по-разному. Потому что всякая жизнь есть игра случая. Правда, Набоков считал, что игра случая есть логика судьбы. Но как узнать эту логику? А что у нас у всех общего, если даже анализ мочи никогда полностью не совпадает? Ну, конечно, можно силой заставить всех маршировать и кричать приветствия очередному идолу, но возвращаясь в свою комнату (если это не тюремная камера на тридцать персон), каждый человек становится самим собой.

Втроем они пришли в один и тот же химический институт. Сема был из Харькова и жил в общежитии, а двое других в советских коммуналках. Через год Мика бросил учёбу и пошёл в люди, но завязавшаяся дружба протянулась трехцветной лентой через всю жизнь. Семе нужно было осесть в Москве, а для этого нужно было либо поступить в очную аспирантуру, либо жениться, что он и сделал одновременно, потому что был умен и способен. Лёва был не умен и мало способен, но тоже женился очень рано и с облегчением покинул родительский кров, состоявший из двух проходных комнаток в домике хрущёвской эры.

Побродив по стране и отмазавшись от армии, Мика решил пойти по стопам своей знаменитой в узких литературных кругах сестры, которая уже была доцентом на кафедре

английской литературы и готовилась к защите докторской диссертации. То, что Мика стал филологом, было удачным поворотом в его судьбе. Он даже занёсся перед приятелями, говоря Лёве:

— Вы с Семёном комплексуете, потому что не стали филологами, то есть не состоялись. А я состоялся!

Правда, к этому времени оба его друга-приятеля уже стали кандидатами наук. Но, как говорят в народе — учёным можешь ты не быть, а кандидатом быть обязан. Между собой Лёва и Сема почти никогда не контактировали, так что Мика был центром притяжения для обоих. Русские объединяются в тройки, когда распивают бутылку водки в подворотне, а евреи садятся за преферанс. Это не был преферанс ради наживы, хотя Лёва ужасно переживал свои частые проигрыши порядка трёшницы, переживал настолько, что у него даже повышалась температура. Кроме жалости к потерянными деньгам он испытывал чувство унижения от своей тупости, а приятели не забывали пнуть его во время игры, к примеру, на распасовке:

— Смотри-ка, Мотеле, какой Лёва жадный — почти все взятки себе забрал!

После преферанса игроки обязательно садились ужинать и с водочкой. Наступало время *расслабухи*, обмен новостями об очередных идиотизмах власти, пытающейся за всеми следить и никуда не пущать. Английский был рабочим языком Мики, а у Семы это было хобби со дня окончания института. Они прекрасно понимали *Голоса* из-за бугра, которые власть не глушила — наверное, сэкономила деньги. Сколько, мол, там народу понимает по-английски! Ещё власть очень сэкономила на зарплате инженеров, учителей, врачей и учёных; поэтому Мика, числившийся на кафедре областного педвуза ассистентом, буквально бедствовал, получая сто тридцать рубликов в месяц. А ведь у него к тридцати годам уже вырос десятилетний сын, которого он сотворил с одной девушкой-славянкой после целинной эпопеи, а ещё у него была молодая жена, с которой он недавно

сделал девочку, к сожалению, очень больную и требующую дополнительного ухода. И на всё нужны были деньги, деньги, деньги. Мика вертелся, как мог, пытаясь подработать. Благо, сестра постоянно получала заказы на переводы с английского разных писателей и драматургов, и Мика пыхтел над переводами, стараясь не упасть лицом в грязь перед сестрой, у которой были очень высокие требования к тексту. Дело поэтому шло не так быстро, а деньги были нужны позарез, и Мика то и дело одалживал их у кого мог, чаще всего у соседей по коммуналке. В результате, за год его долги достигали тысячи рублей. Но вот, он отдавал свой материал сестре, она сдавала пьесу или детектив заказчику и через месяц Мика приходил в свои две комнаты, вытаскивал пачку сиреневых двадцатипятирублевых и с шиком запускал её в потолок. Начинался короткий семейный праздник. Мика ходил по соседям, раздавал долги, ставил бутылку за долготерпение, выпивал с каждым рюмку и возвращался в семью в очень приподнятом настроении.

Однажды он попал в очередную долговую яму и попросил у Лёвы сто рублей с отдачей через год. Как бы ни был прижимист Лёва, отказать другу он не мог, тем более что он недавно стал получать с кандидатской прибавкой аж целых 175 рубликов. Прошёл год, потом ещё полгода и Лёва стал сильно тревожиться — а не забыл ли Мика о своём долге? В конце концов, в одну из нередких встреч Лёва спросил:

— Мика, ты собираешься мне отдавать сто рублей? Ведь мы договорились о долге на год...

Мика, с которым за минуту до этого вопроса они очень мирно пили чай с вареньем, потемнел лицом и ответил, что привезёт деньги послезавтра.

Он действительно пришёл с женой и четвертинкой водки, но вёл себя как-то странно, неделикатно что ли. Жена его с сразу полезла разглядывать книги в шкафу, вытаскивала их и вставляла обратно куда попало, что коробило Лёву, который во всем любил порядок. Мика быстро опрокидывал рюмку за рюмкой, пьянел на глазах. Потом он отказался

от чая, резко поднялся и уже в дверях протянул Лёве деньги в газетной обёртке. Дверь захлопнулась, Лёва распечатал обёртку — сто рублей были набраны мелочью по рублю, пятёрками и двумя десятками. Деньги были мятыми и вонючими, словно он их получил от скупщика винных бутылок. Лёва, когда откладывал деньги, всегда выбирал новенькие хрустящие банкноты.

На следующий день он не сдержался и позвонил Мике:

— Слушай, что за карнавал ты устроил? Я думал, что мы посидим и поговорим, как всегда, даже в гусарика поиграем...

— Лёва, я держал тебя за друга, — ответил Мика, — друзья должны заботиться... В общем, если ты, к примеру, заболешь — я приеду сидеть у твоей постели, давать лекарства, воду, ночевать рядом с твоей кроватью... Ты этого не понимаешь и, значит, ты не настоящий друг.

— Да в чём моя вина? — искренне удивился Лёва. Ты полтора года назад попросил сто рублей. Я тогда болел гриппом, но подумал, что тебе срочно нужно и, несмотря на болезнь, привёз деньги. Ты ведь тогда даже не спросил, как я себя чувствую, а у меня была температура тридцать восемь и две... Кстати, ты сказал, что вернёшь через год...

— Ладно, поговорили, — сказал Мика и повесил трубку.

Лёва пожал плечами — я одолжил ему денег и я же оказался виноват, что попросил вернуть долг. Спустя сорок лет, живя на берегу Атлантического океана, Лёва дозрел до простой мысли, что нуждающимся друзьям нужно не одалживать деньги, а дарить. Дарить! И чувствовать радость от самого акта дарения. Эта совсем простенькая мысль пришла ему в голову, когда он переводил знаменитое стихотворение Киплинга «Один из тысячи»:

*Ты возьмёшь его кошелёк без слов  
И он возьмёт у тебя  
Вместе с Ним каждый день и смеётся вы,  
Словно нет никаких долгов...*

Лёву прямо затошнило от обывательской мелочности английского поэта, которого он обожал всю жизнь и даже читал в подлиннике.

— Какие всё-таки мы фарисействующие ничтожества, рассуждающие о дружбе, о вере в Высшую справедливость и в бессмертие души, — тогда подумал Лёва. — Ветераны войны правы — надо попасть в экстремальные обстоятельства, когда мгновенные порывы души отменяют трусливый и эгоистический ум, и человек идёт на подвиг ради спасения соседей по окопу. А в серое мирное время элементарная щедрость уже кажется героическим поступком.

Та размолвка продолжалась довольно долго и кроме взаимной обиды была ещё одна причина — Мика напряжённо готовился к защите диссертации. Темой он избрал творчество Уильяма Голдинга. Потом, после защиты он объяснял Лёве что такое роман-притча, и Лёва решил, что Мика первым придумал такое название для романов Голдинга. Один из коллег Мики, еврей по фамилии Сержан, знаток французского, которому удалось разыскать и опубликовать непереведенное письмо Пушкина, называл Мику «*Наш Голдинголог*». После успешной защиты Мика потеплел сердцем. Теперь вся их троица стала кандидатской и превратилась в равносторонний треугольник. Когда Сема позвонил и сказал:

— Мотеле, пора уже навестить Лёву, а то я перестал различать бубны и черви, — Мика ответил:

— Раз такое дело — позвони ему и выясни, когда приходит, а то всё я, да я организую...

Лёва с радостью согласился, и хорошие отношения возобновились.

Та вечеринка после размолвки особенно запомнилась. Так лихо выпивалось и закусывалось. Потом пели идиотские советские песни, переиначивая текст, и хохотали, как безумные:

*У нас в пидра́зд-делёнии есть бó-евой сержант,  
Он парень зажига́тельный по части женских гланд.  
Во всём он замеча́тельный, во всём передовой —  
По части политическо́й, по части полово́й...*

.....  
*...Потрудились мы недаром, как велела нам страна,  
Чтоб ломилися анбары от колхозного говна!..*

Потом Мотеле сказал Семе:

— Слушал по Голосу, сколько евреев было в НКВД до войны и во время войны, и я могу отчасти понять, отчего русские стали ненавидеть нас ещё сильнее.

Сема с жаром стал возражать, что русских там было во много раз больше.

— Да, по численности, но командирами были сплошь евреи, — сказал Мика. — Кстати, Зиновьев был одним из самых кровавых палачей в Питере, притом с *неограниченными полномочиями*. Порядочные люди называли его Гришкой Третьим вслед Гришке Отрепьеву и Гришке Распутину.

— А на самом деле он не Гришка, а Герш, — добавил Лёва. — Чёрт его знает, откуда пошла дурацкая мода переименовывать имена и отчества у евреев на русский лад. У нас работал директором ОКБ Пейсах Фейсахович, так его все звали Пал Палыч...

Ладно, я хочу спросить по другой теме: представь, Сема, что у тебя есть коллекция музейных редкостей, к примеру, яйца Фаберже. Вывезти их за рубеж невозможно, а уезжать из этой дурной страны надо. Что бы ты сделал?

— Я предпочёл бы вывезти в целостности и сохранности *свои* яйца, — мрачно пошутил Сема.

— А я никуда не поеду, мне там будет неинтересно, — сказал Мотеле. — Тут каждый день парад дураков по телику, а на бутылку мне пока хватает.

Среди друзей у человека почти всегда есть один (или одна) с которым можно совершенно откровенно и взаимно

обсуждать самые интимные вопросы. Мика и Лёва были как раз такой парой. Вопрос функционирования полового органа занимал их ум довольно часто, начиная с девятого класса, когда предметы их вожделений сидели за соседними партами. Мика признался, что у него тринадцать сантиметров, а Лёва стыдливо промолчал, потому что у него было двенадцать. Читатель может посчитать этот факт свидетельством крайней испорченности, но спустя сорок лет Лёва слышал от своего аспиранта, бежавшего из Баку с семьёй, что у них в школе прямо на уроке пацаны драчили свои органы под партой и тщательно измеряли деревянными ученическими линейками, а чемпионом был армянин Варик, у него тогда было около двадцати одного сантиметра. Может быть, почти все *гомо сапиенсы* ведут себя в определённом возрасте одинаково.

Вот это взаимное доверие сближало. С Семой Мика никогда бы не стал обсуждать физиологические проблемы. Вообще, у Семы была духовная обособленность, тяжёлая тайна, которую его жена через много лет поведала Лёве. Оказывается, Сема в молодости мечтал стать выдающимся скрипачом, закончил с отличием музыкальную школу и непременно хотел стать учеником знаменитого Давида Ойстраха, только его и никого другого. С великим трудом он добился прослушивания у маэстро. Тот с первых минут определил некий дефект в постановке левой руки испытуемого, и его приговор был резко отчётлив:

— Нет, молодой человек, я вас взять в ученики не могу.

Выйдя после испытания, Сема стал раздумывать, как бы половчее поставить последнюю точку в неудавшейся жизни, но дни шли за днями, отчаяние постепенно ослабело, и он пробился в тот скромный химико-технологический институт, куда поступали Лёва и Мика, потому что возвращаться в Харьков с поражением было невыносимо.

Удивительно, как быстро происходит сближение в годы молодости. Тогда, буквально через полтора месяца Мика и Сема стали самыми близкими друзьями — и на всю оставшуюся

жизнь. Не вылезавший из *удов* и *неудов*, Мика покорила Семю своей авантюризмом и внутренней свободой. Спустя полгода Мика рассказывал Лёве, что Сема для него играл на скрипке. Мика в музыке ни черта не смыслил, но был горд, что Сема ради него выкладывался. Он ещё заметил, что Сема при исполнении как-то *похрюкивает*, но спросить побоялся — а вдруг обидится... но сообщил об этом Лёве. Но главное — Сема пригласил Мику на балет «Ромео и Джульетта» и пока Мика в первый раз в жизни созерцал искусство балета, объяснял ему, что означает то или иное место в музыке великого Прокофьева.

Игра в преферанс, как уже говорилось, была предлогом для встреч, но не самоцелью. Отложив карты, приятели выходили на лестницу покурить и поболтать о разном, причём Сема всегда рассказывал что-то особенное или общался с Микой на темы переводов с английского, а Лёва при этом играл роль статиста, поскольку к иностранному языку был совершенно неспособен. Он очень переживал свою никчёмность, тем более, что чувствовал высокомерное к нему отношение Семы. Мика не мог не видеть этого неравенства, но вовсе не собирался прийти на помощь. Его принципом было — не подставляйся, держи дистанцию. Некорректность Семы не давала Лёве ни малейшей возможности отплатить ему той же монетой, поскольку Лёва был намного глупее, хотя тоже числился кандидатом наук.

Так, однажды Сема рассказывал, как его вызвали в Первый (секретный) отдел института и стали пытаться, как это могло произойти, что он, Сема, попал в книгу «*Who is Who*» одновременно с директором Института, академиком Буслаевым? Лёва, услышав об этом, чуть не лопнул от зависти — его никогда бы не включили в такую Книгу, несмотря на десяток статей, опубликованных в академических журналах. При рассказе Сема стоял, обращаясь только к Мике, так что Лёва всё время видел лишь его профиль, а его, Лёвы словно и не было.

Лёва знал от Мики, что Сема регулярно берёт английские книжки, подаренные Микиной сестрой, и даже посещает британское посольство по определённым дням, когда для желающих показывают английские фильмы. Сема словно заранее знал, что выскользнет из страны при первой возможности, и готовился к отъезду, и детей отдал в английскую школу.

Мика, как мы уже знаем, никуда ехать не собирался. Его мечтой было притащиться с Лёвой в убогую деревеньку, где Лёва купил за 750 рубликов избушку на берегу тихой и прозрачной реки Угры, пристроить задницу на доске, положенной поперёк ведра, и, закинув пару удочек, замереть в ожидании вечернего клёва часа на три. Сема никогда бы не поехал в такую даль с антисанитарными условиями.

Однажды Сема повёз Мику с дочкой на родину Микиной молодой жены к чёрту на кулички, в город Озеры, чтобы ребёнок подышал чистым воздухом и поел ягод с огорода. Мика потом с большим уважением говорил Лёве, какой Сема отменный водитель и какой он преданный друг. Видимо, у Мики внутри сидел какой-то счётчик, который показывал ему баланс добрых дел, творимых им самим и его друзьями. Что касается не очень красивых поступков, на которые многие из нас тоже способны, счётчик у Мики на них не срабатывал.

К примеру, зная, что у Лёвы есть проблемы в интимной жизни, он однажды на прогулке в парке после вечеринки с водочкой спросил жену Лёвы, не согласится ли она с ним переспать и если ей понравится, он согласен на роман. Лёва, разумеется, ничего об этом не знал и услышал эту заплевневшую новость уже на берегу Атлантического океана от разъярённой жены, почти тридцать лет спустя. Бывало и так, что за преферансом Мика мог огласить интимную информацию, которую Лёва ему поведал, как самому близкому другу. Ни для чего, просто так, от скуки жизни. По этому поводу наш звёздный поэт Пушкин когда-то очень метко сказал:

*А что? Да так. Я усыпляю  
Пустые, чёрные мечты;  
Я только в скобках замечаю,  
Что нет презренной клеветы,  
На чердаке вралём рождённой  
И светской чернью ободрённой,  
Что нет нелепицы такой,  
Ни эпиграммы площадной,  
Которой бы ваш друг с улыбкой,  
В кругу порядочных людей,  
Без всякой злобы и затей,  
Не повторил сто крат ошибкой;  
А впрочем, он за вас горой:  
Он вас так любит... как родной!*

Удивительно, что Лёва при этом не устраивал скандала, не гнал друга вон из дома, не давал ему пощёчин.

— Наверное, Лёва очень любил Мику, товарища со школьной скамьи, — подумали вы.

Ничего подобного! Все знают, что такое географический дегенератизм (или идиотизм). Поясним на всякий случай: человек плохо ориентируется на незнакомой местности или в городе. Лёва страдал бытовым дегенератизмом и часто бывал жертвой скабрёзных шуток близких друзей, собравшихся за его гостеприимным столом.

В оправдание Мики надо сказать, что женщины в святую мужскую дружбу им не допускались. Женщинами можно было и поделиться. В течение одного из неприятных периодов в интимной жизни Лёвы Мика решил прийти на помощь другу и предложил свою очередную приятельницу Леру, которая нравилась Лёве. Однажды после небольшой попойки в ресторане на Каланчевке Лёва настолько возбудился, что полез к Лере целоваться, пока Мика ходил в общественный туалет в своей коммуналке. Вернувшись, он понял, что в его отсутствие проскочила искра либидо, и тут же предложил Лере переспать с Лёвой. Лера была несколько ошарашена

и ответила в том духе, что так сразу она не может и что Лёва должен поухаживать, постараться понравиться и тогда, может быть, она согласится.

Сам Мика, как бы ни любил друзей, всегда держал дистанцию. Никому в голову не пришло бы с ним амикошествовать, тем более на людях. Однажды один из знакомых после пьянки зашёл к нему со своими собутыльниками, чтобы похвастать своим «другом-доцентом». Мика мрачно дотерпел до конца визита, а наутро позвонил и сказал, что в следующий раз выгонит «друга» из своего дома с позором.

Семе тоже никогда бы в голову не пришло за преферансом или при других обстоятельствах съязвить на Микин счёт. Спустя сорок лет, когда оба Микиных приятеля обитали в Америке и между ними сложились тёплые, хотя и не близкие отношения, Сема признался, что в молодости Мотеле не раз ему «врезал» по разным поводам, что означало психологическое превосходство одного друга над другим. Не исключено, что Мотеле в те времена был озлоблен неприятностями, которыми так богата наша *расейская* жизнь, а озлобленный человек часто ведёт себя агрессивно в виду явных успехов своих друзей в бытовом плане. Действительно, Сема рано защитил докторскую диссертацию, жил в замечательной трехкомнатной квартире на Мосфильмовской улице напротив Шведского посольства, имел автомобиль. Лёва сумел отселить родителей жены в кооператив и тоже жил в трехкомнатной квартире.

— Про меня возникла легенда, что я необыкновенно предприимчивый и удачливый, — говорил в эти годы Мика со смехом Лёве. — Я живу в говенной коммуналке с десятью соседями, у меня ничего нет, кроме транзисторного приёмника, фонарика и шкафа с английскими книжками в бумажных обложках, а у Семы есть всё, что должно быть у состоявшегося учёного, да и у тебя все есть, кроме машины. А у меня ещё и неизлечимо больная дочь! Так в чём же я так удачлив?

Разговоры о литературе никогда не происходили втроём. Так уж получалось, что Лёва узнавал, к примеру, об увлечении Семы Хемингуэем от Мики. Вся Москва тогда кипела интересом к автору, который был участником гражданской войны в Испании, и все интеллигентные люди были просто обязаны прочесть роман *«По ком звонит колокол?»*, а Лёва в этот круг не был вовлечён и потому прочёл роман гораздо позже. Для России публикация такого романа была событием, приобщающим к свободному миру. Лёва в те годы увлёкся Достоевским и пытался доискаться до причин, породивших маниакальное стремление Раскольникова преодолеть слабость характера путём убийства старухи-процентщицы. На вопрос, почему бы им не обсудить это, Мика ответил:

— Понимаешь ли, существуют различные горизонты понимания... Вот ты, к примеру, сказал недавно, что свободы, как таковой не существует, а существуют лишь некоторые степени свободы, потому что абсолютный нуль недостижим. Мне это непонятно совершенно, но я уважаю твой профессионализм и обсуждать нам нечего. А я дважды прочёл *«Преступление и наказание»* и понял, как Достоевский сделал свой роман.

На том разговор и кончился. Что же касалось обсуждения окружающей жизни, Мика иногда признавал, что Лёва очень удачно формулировал суть исторических реалий. Так, ему понравилась Лёвина мысль, что у КГБ и у папской инквизиции есть много общего — сращивание с властью, поощрение доносов, наводящие ужас казни, невежество в экономических вопросах, преследование прогрессивных сил, насилие над учёными в пользу обскурантизма.

По мере того как Лёва становился старше и умнее, его всё меньше волновали литературные пристрастия своих друзей и всё больше интересовали вопросы мироздания и открытия в области астрофизики и биофизики. Однажды он поделился с Микой гипотезой происхождения Луны, где предполагалось, что Луна возникла в результате столкновения Земли с блуждающей планетой величиной с Марс.

— Я считаю, что это полная чушь,— говорил Лёва,— если бы Земля получила такой удар, то её и особенно образовавшуюся Луну просто выбило бы из плоскости эклиптики, а мы знаем что выход Луны из этой плоскости всего лишь около пяти градусов.

— Техника и естественные науки меня не интересуют,— отвечал Мика.— Я знаю одно — человек, несмотря на всю науку, не изменился за последние шесть тысяч лет, а значит и никакого прогресса нет. И все твои железки ничего не меняют по большому счёту.

Однажды Лёва спросил:

— Скажи мне, Мика, отчего мы не верим в Бога? Оттого ли, что владеем большей информацией по естественным наукам, чем другие? Или из-за того, что мы понимаем — жизнь есть цепь бесконечных утрат, с которыми нам просто следует смириться. Хорошо тем, кто верит в бессмертие души. Вот только интересно, как обходились бессмертные боги до появления человека без витающих вокруг них человеческих душ? А про динозавров кто бы узнал, кроме человека, если бы спустя пятьдесят миллионов лет не появилась обезьяна, у которой ещё не было души. Вот тут тонкий момент — когда же, в какой миг истории у неё появилась душа? — Когда появился *Человек Разумный* вместе со своим братом *Неандертальцем*? Ведь они появились не ранее миллиона лет назад. А до этого? А ведь согласно религиозным догмам бессмертные боги или наш Господь жили всегда, тысячелетие за тысячелетием, и никто их не славил, никто не бил башкой в пол и не зажигал свечи!

Мика ответил просто и кратко:

— Я просто не верю в бога. Мне он неинтересен.

Сема, наверное, был убеждённым урбанистом, потому что в походы с байдаркой или с рюкзаками он не ходил. А Лёва с Микой где только не бывали, пока Лёва не купил ту избушку на Смоленщине. Хотя у обоих был отвратительный и нестабильный характер, они как-то удивительным образом

ладили, может быть, потому, что Лёва был ужасно ленив и не мешал Мике самовыражаться — вставать рано, колоть растопку, готовить завтрак, потом дышать по системе йогов, съесть половинку яблока и идти в туалет. Воображал ли Мика при этом себя благодетелем, неизвестно. Лёва к нему не лез с советами и помощью.

— Знаешь, почему я тебя ценю? — спросил Мика в один из майских вечеров, покуривая на завалинке, — ты уютный человек, с тобой спокойно. Вот, Семён весь какой-то нервный, дёрганный...

Судя по всему, Мика очень ценил всегда открытую возможность приезжать в деревню к Лёве и даже присылать туда своего сына, ставшего священником, вместе с юной женой. Лёва никогда не подсчитывал своих добрых дел, а просто жил, как придётся. Эта аморфность могла, пожалуй, и раздражать кого-либо.

Говоря об безвременно ушедшем друге, Сема сказал:

— Я всегда ценил Мотеле за то, что у него были твёрдые принципы — определённые вещи он делал, а другие — никогда не делал.

Наверное, для Семы это было очень важно. А Лёва всегда думал, что почти все люди продаются и совершают пусть не подлые, а всего лишь беспринципные поступки, и вопрос только в цене. А цена определяется совестью.

Как быстро бежит время! Дочка Мики вымахала в огромную тётку ростом метр восемьдесят с разумом восьмилетней девочки. Родители ко всему привыкают, привыкают и к несчастью. Одних несчастье объединяет, а других разлучает, потому что мы все очень разные. Воспользовавшись разногласиями по поводу воспитания дочки, Мика развёлся и согласился, чтобы дочка жила у него, изредка навещая маму. Регулярно, раз в неделю Мика с дочкой появлялся у Лёвы, принося пакет сока, четвертинку или пол-литра и цветы для жены Лёвы. Не спеша обедали, делились новостями, дочка без отрыва смотрела телевизор. Сема уже пять лет, как

благополучно уехал в Израиль и довольно часто обменивался письмами с Лёвой. Мика терпеть не мог писать письма. Звонил ли Сема своему Мотеле — не известно. Преферансный треугольник распался. Изредка прибывался кто-либо из знакомых, но желание играть почти ушло. Другие события, причём весьма грозные, нависали над бывшим СССР.

Материальное положение Лёвы, работавшего в своём почтовом ящике, стало никаким. Даже его жена, младший научный сотрудник в академическом институте, стала приносить больше денег. Однако ветер перемен освежал затхлое огромное географическое пространство. Как грибы после дождя, появились на самодельных прилавках бананы, грейпфруты и другие фрукты, стала свободно продаваться гречка, которая раньше отпускалась только диабетикам по медицинской справке. Лёва старался заработать денег, где только мог.

Немыслимая ранее свобода передвижения на все четыре стороны опьяняла. Нужно было лишь научиться добывать денежки, а где их было взять? Страна, которая прожила семьдесят лет в полуголодном состоянии, теперь стала просто умирать от голода. Исчезли элементарные товары и продовольствие. Каждый стал искать свой способ прокормиться.

Перестройка порвала в клочья железный занавес и вызвала живейшее любопытство у иностранцев — а что же там коммунисты скрывали от всего света почти семьдесят лет? Незадолго до объявления перестройки Лёва успел поменять свою и тещину квартиру на большую четырехкомнатную. Тёща быстренько померла, и теперь появилась возможность поселить в одной из комнат иностранных туристов. Но где их взять? Вот тут Мика и помог Лёве через своих знакомых, работающих в качестве гидов и контактирующих с молодыми иностранными ребятами, приехавшими пожить в столице-Москве, потому что курс доллара позволял за сто зелёных спокойно прожить месяц, а ещё за сто — снять комнату близко от метро.

Через знакомых Мика нашёл девчонку из Германии, которая заканчивала университет в Лондоне. Жить в Германии с мамой-писательницей и отцом-архитектором ей не хотелось.

— Немцы очень скучные, — говорила она Лёве.

Весь её багаж умещался в двух чемоданах, больше никаким имуществом она не владела и поэтому отказывалась от любых подарков-сувениров. Она уже успела поработать во всяких общественных фондах по всей Европе и сейчас решила изучить русский язык и получить представление об огромной стране.

— *Подумай только, Лиова, я вышла из дома в семь часов утра и тут же встретила пианого. Семь часов утра, а он уже пианный!* — восхищалась она.

А Лёва восхищался её свободой, её образом жизни, полным отсутствием зависти и злобы.

Мика не проявлял интереса к проживающим у Лёвы гостям. Он делал доброе дело для своего друга и оставлял, может быть, лишь пометки в своей душе.

Обстановка в бывшей интернациональной стране, между тем, накалялась, разумеется, по экономическим причинам. И это непреложный закон: когда всем и всего хватает, все между собой ладят, а как только возникает серьёзный дефицит, сразу ищут виноватого и находят! Находят! Во всём плохом виноваты, прежде всего, конечно, евреи. Если власть смотрит безучастно — начинаются погромы. Не сразу, не сразу. Сначала появляются статейки в газетках, так сказать, пробы сил. Если власть не пресекает, то выпускаются листовки, книжки с призывами разобраться, кто в России хозяин, а кто безродный космополит. Дарованная перестройкой свобода открыла массу возможностей для бизнеса, но она же позволила открытые высказывания самого экстремистского характера. Да только ли высказывания! История девяностых годов в России — это история зарождения бандитского капитализма, беспредела. Не зря эти годы теперь называют «лихие девяностые». Активисты из погромщиков стали ходить в ЖЭКи и выяснять, сколько евреев живёт в каждом доме, в каких квартирах и которые из них прячут своё жидовское нутро под русской фамилией. На этом фоне созрело решение семьи Лёвы ехать к дальней родне в Америку.

Сема к этому времени уже несколько лет жил в Израиле, был принят в престижный университет и работал по специальности. Его переписка с Лёвой продолжалась. Видно, в начале эмиграции ему было довольно тошно после работы, друзей не было, а соседи по дому были людьми совсем-совсем обыкновенными, с соотечественниками даже по-русски говорить было совершенно не о чем. Мотеле, как вы уже знаете, терпеть не мог писать письма, а телефонные звонки стоили тогда кошмарно дорого.

Мика выстроил свою жизнь, как хотел. Выпивал свои сто пятьдесят граммов за ужином, созерцая выступления депутатов (его очень развлекало, как они собачатся). Днём обязательно спал, а проснувшись, сидел над дипломными работами своих студентов или очередными переводами и бесконечно курил. В перерывах между занятиями он ещё ухитрялся крутить романы и объяснял Лёве, что теперь он умеет не спешить с женщинами и дать им то, что им нужно. Этот неспортивный образ жизни, включая обслуживание больной двадцатилетней дочки вплоть до купания, поскольку мать от неё фактически отказалась, в конце концов подорвал его здоровье. Посещение врача было неутешительным — у него обнаружили паркинсонизм. Сема, приехав лет через пять в Москву повидаться с друзьями, был поражён видом больного друга.

У Лёвы это время было периодом расцвета. Он поступил в один из институтов Газпрома и стал получать приличные денежки. Многие проблемы упростились, в частности, производственные. Расписание у него было довольно свободное. Однажды он заехал к Мике и свежим глазом отметил, что тот с дочкой обитает в неописуемой грязи. Правая рука у Мики стала плохо действовать, да и ногу он стал подволакивать. На следующей неделе Лёва прихватил два килограмма едкой калиевой щёлочи и, надев халат, резиновые перчатки и очки для защиты глаз, приступил к отбеливанию раковины на кухне и санузлов. В последующие посещения работы стало меньше, грязь не успевала накапливаться.

Мика явно сдавал. По телефону часто говорил Лёве:

— Представляешь, — подмёл квартиру и уже устал!

И это говорил Мика, который в многочисленных походах брал на спину байдарку, оставляя Лёве нести два рюкзака! Что с нами делает время!

Когда Лёва сообщил Мике, что собирается с семьёй линиять в Америку, никакой реакции вроде бы и не последовало. Вон и Сема уехал. Все разъезжаются... Однако спустя десять лет после отъезда, разговаривая с бывшей женой Мики, он узнал от неё, что Мика страшно переживал Лёвино *предательство* и спрашивал её:

— Вот он уезжает, а я остаюсь совершенно один? А как же наша дружба?

— А что бы ты хотел? Чтобы Лёва бросил семью и остался тут с тобой? — со злорадством парировала жена.

В разговорах с нею по Скайпу Лёва чувствовал, что она люто ненавидит покойного Мику за свою исковерканную жизнь, за всё плохое — за его гнусный характер («а он, такой принципиальный, оказывается, умел угождать тем, от кого ожидал поблажки!»), за большую дочь, за то, что не смог их обеспечить, завещая им свою квартиру, а отдал её своему старшему сыну... Вот теперь он помер, а она до самой своей смерти должна нянькаться с дочкой, экономя каждую копейку, а у неё самой здоровье ни к черту...

А что Лёва мог для неё сделать? Посылать ей часть денег со своего скромного пособия? Но она ведь была ему человеком неблизким... Старший сын Мики скорее мог бы ей помочь, и вообще — его ли, Лёвино это дело?

Время от времени Лёва продолжал вспоминать, как во время одного из звонков из Америки Мика сказал ему, что упал, и его отвезли в больницу, где врач сделал ему рентген и обнаружил рак толстого кишечника в последней стадии. Мика спросил его, долго ли ему осталось, и врач сказал, что месяца три. Делать операцию Мика категорически отказался. Лёва молчал. Ему бы взять билет до Москвы и побыть с другом... Но почему-то эта простая мысль не пришла ему

в голову, а Мика был слишком горд, чтобы просить. Лёва звонил ему каждую неделю. Прошло уже пять месяцев со дня страшного диагноза. А может быть, врач ошибся?

— Вот уже шестой месяц пошёл, а я всё живу и живу, — сказал Мика по телефону. —

— Ну и живи себе на здоровье! — воскликнул Лёва с энтузиазмом.

Врач ошибся в сроках, но не ошибся в диагнозе. К концу шестого месяца Мика уже не вставал. Его сын-священник, намекнул, когда Мика получил роковое известие, что хорошо бы креститься перед смертью. Мике было всё равно, но он сделал это ради сына, а сын даже взял отпуск на две недели, чтобы проводить отца. Бывшая вторая жена сидела у себя в глуши с дочкой и приехала только на похороны. Она уже знала, что свою квартиру Мика отписал сыну, который пообещал позаботиться о своей сводной сестре.

— Человек, умирая, остаётся наедине со своей судьбой, со своими болями и страхом полного исчезновения, независимо от того, сидят ли у его постели родные и близкие друзья. Он их уже почти и не видит. Может быть, и есть свет в конце тоннеля, но я, лично, когда мне делали операцию на открытом сердце, ничего вообще не видел, более того — я не заметил, как ушёл, и вернулся только тогда, когда медсестра довольно грубо хлопала меня по морде. Вот, мы с Семой не приехали попрощаться с Микой ни при жизни, ни после смерти. Стало быть, мы не настоящие друзья.

Так думал Лёва, выпивая в память Мики рюмку водки в день его рождения, спустя десять лет после его ухода «в тоннель».

— А ты помянул своего Мотеле? — спросил Лёва Сему по телефону и, получив утвердительный ответ, добавил — Всё-таки в этом есть нечто театральное, точнее — лицемерное. Нельзя об этом говорить. Каждый должен казнить себя сам. Молча.

## Грех сочинительства

— **А вы кто, Лёня, по** профессии будете?

— Я профессиональный писатель, — скромно соврал Лёня.

— Надо же, и я писатель! — обрадовался таксист.

— Кто сейчас, в век Интернета, не пишет, — подумал Лёня. Зря я ему сказал. Теперь будет приставать со своими трудами — почитай, да почитай. И не надо было называться Лёней. Что я мальчик? Надо было сказать Леонид. И почему я сказал «профессиональный»? Я ведь не живу с продажи моих книжек. Я ведь писатель-любитель, хобби у меня такое. Но я ведь и не графоман. Вон, меня и в толстом журнале печатали, и в тонком, и книга вышла в Москве, и в Литературной газете похвалили двадцать лет назад. Правда, пришлось за отзыв заплатить, но это же мелочи. Не стал бы критик-профессионал позориться, как его фамилия, чёрт бы его взял...забыл. Ладно.

— А о чём вы пишете? — не унимался таксист.

— Я охочусь за интересными сюжетами, потому что пишу в стиле *нонфикшн*, — сказал Лёня и в первый раз внимательно посмотрел на таксиста. — Как вас звать? Аркадий? А как вас друзья называют? Кадя? Странное имя.

— Я в детстве «Р» не выговаривал, называл себя Кадя. Так оно и пошло.

У Кади был странный цвет лица. Смесь серого, свекольного и синеватого. Прямо сказать — нездоровый цвет.

— Я тоже не люблю сочинять из головы. Хотите подскажу вам сюжет? Это, так сказать, случай из моей собственной жизни.

— Конечно, конечно. Слушаю вас внимательно.

— Так вот. Я работал разнорабочим в геологической партии в Иркутской области, в тайге. Было мне тогда девятнадцать

лет, и я убежал из Москвы, чтобы меня не загребли в армию по осеннему призыву. Осень в Сибири быстро сменяется на зиму, резко холодает. Короче, мы с Васькой, одним парнем из нашего отряда отпросились пойти вместе из конторы к поисковикам. Это было около десяти-двенадцати километров по грунтовой дороге через тайгу. У Васьки был компас и карта, и мы решили идти напролом. Правда, одна тётка из конторы сказала нам:

— Вы бы, ребята, лучше посидели здесь. Я слыхала по радио, что ожидается снегопад, вон, гляньте в окно, вот-вот начнёт посыпать.

— Ничего, тетя Дунь, мы часа за три точно доберёмся, а здесь сидеть скучно.

— Ну ладно, возьмите накладные, пусть ваш начальник подпишет, да идите поскорее, не мешкайте.

Мы взяли телогрейки, затянули их солдатскими ремнями, ушанки на голову и в тайгу. Помню, Васька ещё вытащил компас, карту и потом рубанул рукой: идём вот так, на Юго-Запад. Вскоре выяснилось, что идти по тайге напрямик очень тяжело, дорог для нас никто не прокладывал. Опыта в таких путешествиях тоже не было, надо родиться и жить в таких местах.

Никогда местный житель не пойдёт в тайгу, даже в знакомые места без вещмешка, в котором и припасы, и спички, и соль и многое другое. А мы были молодыми дураками.

Через час мы одолели едва ли полтора километра, а мелкий снег уже сыпался. Стало холодно. Нам бы вернуться назад, но соображения не было совсем, и мы всё пёрли и пёрли на Юго-Запад. Потом, непонятно где и как, Васька выронил компас. Ему бы привязать его намертво к ремню или к руке! У нас началась паника. Найдя небольшую полянку, Васька сказал:

— Ты стой здесь, а я разведую, нет ли где дороги или тропы.

Сказал и исчез. Я остался ждать. Прошло с полчаса. Я взглянул на часы, ждал ещё полчаса и стал орать во все

стороны — никакого отклика. Тут на меня напала истерика. Орал, плакал, потом почувствовал, что замерзаю. Тогда выбрал направление, как мне показалось, назад к конторе и пошёл. А снег валит. Видимости никакой. Шёл часа два, время от времени орал *«Помогите»*. Стало темнеть от всё уплотняющихся облаков.

— Ну всё, — подумалось. — Пропал. Прощай мама, прощайте друзья!

Прошёл ещё час, и в сумерках я буквально упёрся носом в охотничью избушку. Дверь была приколочена доской двумя гвоздями с каждой стороны, а у меня в руках ничего не было, но я нашёл толстую ветку какого-то кустарника, отчаяние придало мне силы и я расщепил её, загнал под доску и с невероятным усилием отодрал от двери. Снег пошёл ещё гуще. Я распахнул низенькую дверь и вошёл, пригнув голову. Окна тоже были заколочены, но светились синевато сквозь щели цветом сумерек. Охотники позаботились о приходящих. В стеклянной банке с крышкой хранились спички, а на печурке стояли в консервных банках два довольно больших свечных огарка. Дрожащими пальцами я зажёл свечу и плотно закрыл дверь. Теперь можно было и осмотреться.

Под потолком на крюке висел мешок с крупой, а в печурке в стеклянной банке с крышкой была соль, там же в пластиковом пакете лежало кусков десять сахара. В углу стояла бутылка наполовину наполненная подсолнечным маслом и возле неё баночка килек в томате. У печки было аккуратно сложено вязанки две дров и главное — рядом лежал топор, в одно из брёвен был воткнут небольшой кухонный нож, на гвозде висела алюминиевая ложка, в ручке которой была проделана большая дыра. Я быстро растопил печь и в изнеможении повалился на нары, но тут же вскочил. Чтобы тепло не уходило без толку, я взял со стола помятый алюминиевый чайник, выскочил на крыльцо и быстро-быстро голыми руками набил чайник свежим снегом. На столе в алюминиевой кружке, покрытой фаянсовым блюдцем, лежала початая пачка грузинского чая. Я до сих пор вспоминаю с благодарностью

моих безымянных спасителей. Что бы я делал, если бы избушка оказалась пустой?

Снег шёл трое суток. Я, как Робинзон Крузо, ставил ножом отметины на бревне, чтобы не сбиться. После снегопада мороз усилился, как мне казалось, до минус двадцати. Крупу я сварил и доел до конца за три дня и только потом понял, что совершил оплошность. Надо было экономить, тянуть как можно дольше. Нарубленные дрова я тоже спалил за пару дней, потому что было холодно. Тепло печурка не держала совсем. Приходилось с топором бегать поблизости, потому что я отчаянно боялся заблудиться, каждую секунду оглядывался на избушку. Набирал я разных веток, так что на день хватало. Когда снегопад прекратился, я смелее выходил за сушняком, потому что оставлял глубокие следы. Я рассчитывал, что нас с напарником начнут искать. Как понимаете, никаких средств связи тогда не было, а если бы был мобильник, как сейчас, то ещё не факт, что я был в зоне доступа, заряда тоже не хватило бы, а электричества не было. Так что надо было ждать и ждать.

А тут свалилась новая беда. К избушке подошёл медведь.

— Шатун.

— В каком смысле?

— Неважно. Продолжайте. Очень интересно.

— Слава богу, дверь открывалась наружу. Он, видимо, учул меня по моим следам и решил вломиться в избу, наваливаясь на дверь. Я накинул крючок и притянул скобу, которая заменяла дверную ручку, к себе. Зверь возился около часа, всё старался подлезть под дверь, потом начал кружить вокруг дома.

Почти сутки я провёл в избушке, боясь высунуть нос наружу, однако холод заставил меня выйти на поиски дров. Я выбежал и увидел его широкие следы на снегу, но с колотящимся от страха сердцем побежал собирать оставшиеся сухие ветки. От напряжения я даже взмок. Всё, что было съедобного, я уже съел и держался только на горячей воде. Самое страшное — у меня кончались спички. Печурка быстро

сжирала мои дровишки, и надо было всё время поддерживать в ней жар. Судя по моим зарубкам, я провёл в избушке уже семь дней. Последнее, что я помню — я пересчитывал спички в коробке. Их оставалось девять штук.

Нашли меня, как потом мне рассказывали, на одиннадцатый день. А мой напарник так и пропал.

— Врёт, — подумал Лёня. — При морозе в двадцать градусов, без пищи в течение восьми суток и в одной телогрейке он должен был замёрзнуть насмерть гораздо раньше.

— Да, история, прямо скажем, удивительная, — сказал Лёня. — А почему бы вам самому не написать об этом. Никто лучше вас не смог бы показать, какие мысли и чувства вы испытывали, как боролись с отчаянием от одиночества. Будь я на вашем месте, я сошёл бы с ума и отправился на поиски людей сразу после окончания снегопада. Впрочем, надо было бы попытаться поджечь хвойное дерево. Тогда бы люди увидели дым и быстрее нашли вас...

— Ну, вот и приехали, — сказал Кадя вместо ответа. — У вас сколько сеансов на физиотерапию назначено? Восемь? Если захотите со мной поехать ещё разок, позвоните в нашу контору, вот номер. Заодно покажу вам мой рассказ...

— Я не успел вам поведать в прошлый раз о моём возвращении к жизни, — начал Кадя, едва Лёня уселся в машину. — Этот процесс, прямо скажем, далеко не живописный, потому что все усилия воли уходят на то, чтобы выкарабкаться из униженного беспомощного состояния. Вначале его не чувствуешь, ходишь под себя и лежишь с закрытыми глазами все двадцать четыре часа в сутки, потом смутно различаешь черты нестарого женского лица и начинаешь к нему привыкать, потом даже любить...

Я пришёл в сознание, как мне говорили потом, через две недели. Милая сестричка увидела, как я захлопал ресницами и весело побежала сообщать начальству о моём возвращении. Сейчас я вспоминаю длинные и тёплые сновидения, почему-то связанные с явлениями природы. Будто я стою на

берегу реки во время ледохода, и льдины проплывают мимо меня, или же я стою под навесом той избушки, а в лесу идёт праздничный летний дождик, пересекаемый лучами солнца. Его ещё почему-то зовут «слепой дождь».

Возвращаться домой в Москву мне не хотелось. Там мы ютились вчетвером в комнатухе метров двенадцати, а наш двухэтажный домик в 4-м Лесном переулке всегда стоял подпираемый с боков бревнами-укосинами, чтобы не развалился невзначай. Медсестра Надя жила в ближайшем пригороде Иркутска со своей бабушкой, родители рано померли. Она меня выходила и испытывала скорее материнские чувства, чем гендерные, а я тогда был глуп, высок и строен, был мастером спорта по фехтованию, словом — д'Артаньян. Я всё искал приложение своим нерастраченным талантам, а образования у меня было всего-то-навсего десятилетка. Особенно открываться в отделах кадров разных предприятий я побаивался, там могли быстро просечь, что я скрываюсь от армии. Наступила весна. Я с утра до вечера усердно орудовал лопатой и граблями на огороде, который был источником материального благополучия Нади и её бабы Клавы. В свободные дни я искал подработку и однажды набрёл на музей Декабристов, где устроился сидеть три раза в неделю за небольшую плату. Там мне никаких вопросов, почему я уехал из Москвы, не задали, а я был счастлив, что приношу деньги в семейный бюджет. Надя то ночевала дома, то дежурила, так что половину вечеров я был свободен и шатался по Иркутску. Однажды я зашёл в дом культуры металлургов, где самодеятельный театр репетировал пьесу «Давным-давно». Меня не прогнали, а режиссёр, актриса Иркутского театра имени Охлопкова после репетиции подозвала меня и спросила, кто я такой и интересуюсь ли театром. Я, разумеется, соврал, что всю жизнь мечтал играть, и на следующей репетиции я уже участвовал в пьесе в роли кавалергарда. Узнав, что я мастер спорта по рапире, актриса К-ская попросила показать несколько фигур и пришла в восторг. Она же и перетащила меня из

музея в театр. Денег я получал так же мало, как и в музее, но жизнь там была ключом.

Наде моя новая жизнь очень не нравилась, она ревновала, но до поры терпела и не учиняла мне скандалов. Она была старше меня на шесть лет и не была уверена, что имеет право сказать мне прямо — женись или катись. А я проживал в её доме по временной прописке, которую надо было периодически обновлять, но совершенно не заморачивался думами о будущем. Не тот был возраст.

Со мной, пока я болел, произошло чудесное превращение, о котором я и не догадывался долгое время. У меня открылась огромная память на прочитанное. Я мог прочесть страницу пьесы и тут же дословно её пересказать. Обнаружилось это в театре. Моя наставница К-ская была поражена и сказала, что сама судьба привела меня к ней. В школе я литературой не интересовался, был убогим середнячком, а тут, в театре я прочёл всё значительное в области драматургии — Лопе де Вега, Ибсена, Островского, наших современных... К-ская сказала однажды вечером, что она берёт на себя ответственность за моё образование и для этого я должен всё время быть у неё на глазах. Короче, я переехал жить в её большую квартиру в центре. Она была меня старше на двенадцать лет, но ещё пышно цвела. Напоминала мне роскошную георгину, да и имя у неё было необычное — Георгия. Друзья и коллеги звали её Гера.

Она всерьёз занялась моим образованием. Кроме того, она нашла знакомого преподавателя музыки, который прослушал моё исполнение некоторых общеизвестных романсов и сказал, что способности у меня налицо, и он готов развить эти задатки до уровня театральной сцены где-то за год напряжённой работы.

Тут Кадя полез в бардачок и поставил диск в магнитофон. Послышалось немного гнусавое, но вполне колоратурное пение.

— Ну, вот мы и приехали, — опять кратко закончил Кадя и остановил машину. — Звоните мне на мобильный.

На обратном пути Кадя выяснял отношения с женой, которая просила захватить её из офиса, а он говорил, что у него ещё один клиент и он не успевает. Лёня изрядно устал от процедур и хотел спать, так что продолжения истории не последовало.

— Когда же окончились ваши приключения в Иркутске? — вежливо поинтересовался Лёня в следующий раз.

— О! Приключения продолжались ещё долго. Наде я оставил записку, что срочно уезжаю в Москву и напишу ей из дома. Вещей у меня не было, денег тоже, зато свободы было через край.

Как я вам говорил, я поселился у Геры. Она в то время была свободной женщиной и, естественно, широко пользовалась своей свободой. Однажды лёжа в постели, она мне сказала:

— Слушай, малый, ты ведь совсем не похож на еврея. Одно-го Райкина вполне достаточно на весь СССР. Смени себе фамилию на что-нибудь более благозвучное, потом это обязательно пригодится. Ты по отчеству Михайлович, вот и стань Михайловым. В России так принято, особенно в театрах.

Я так и сделал. Прошёл ещё год. Актёром я так и не стал и вообще театральная кухня вызывала отвращение. Я за промелькнувший год подучился бодро дренькать на гитаре и с парой пацанов из оркестра решил летом совершить турне по городам Русского Севера. Я пел и дёргал гитару, а они дули в трубу и били в барабан. Репертуар был самый обширный. Я за три месяца заработал больше, чем за два года. К Гере я не вернулся, да и вообще Иркутск мне надоел.

— Какое же вы выбрали поприще? — спросил Лёня. — Филологическое или техническое?

— Техническое. Но в жизни я столько специальностей освоил!.. Тут Кадя достал из бардачка новый авторский диск и вставил в магнитофон.

На следующей неделе, пока ехали к врачу, Кадя рассказал о своём методе освоения английского языка. Он стал

регулярно ходить на слушания в ближайший суд и проводил там весь день. Лёня подумал, что слушай он сам судебные дела хоть сто лет, ничего бы понимать всё равно не стал бы.

— Вы, наверное, очень способный человек, — сказал он Каде.

— В моей родне есть люди куда более способные, — ответил Кадя, ожидая вопроса, кто же они, но Лёня отвлёкся и вопроса не задал. Кадя был недоволен отсутствием интереса и замкнулся.

Сумрачный февральский день явно не способствовал общению, у Лени ныла поясница и так, молча, они доехали до клиники. В конце обратного пути Кадя вытащил несколько листов в прозрачной папочке и протянул Лене:

— Вот, почитайте. Кстати, здесь ни одной выдуманной детали. Всё так и было.

Дома после обеда Лёня вытащил рассказ под названием «Пучок петрушки» из прозрачной папочки и прочёл все шесть страниц, в которых повествовалось, как престарелый еврей-беженец из России пошёл в продовольственный магазин в маленьком городке Пибоди, что в Массачусетсе, купил там флакон кукурузного масла и положил в боковой карман пальто пучок петрушки, который не предъявил на кассе. Один из работников магазина это заметил и поднял скандал. Старичка задержали, вызвали полицию, и дело передали в суд. Однако старичку-еврею-беженцу повезло, так как его защищал сам Кадя, который так заморочил голову судье о русском обычае класть зелень в карман, чтобы не заморозить (а дело происходило зимой), что судья махнул рукой и распорядился, чтобы старик выплатил штраф в сто долларов и был отпущен.

Зевая, Лёня дочитал рассказ и стал вспоминать, как он много раз был свидетелем воровства старых евреев-беженцев, которые обожали красть с прилавков всякую мелочь в гигантском магазине «*Building 19*».

— Рассказ хороший, — сдержанно похвалил Лёня, когда они ехали на очередной визит. — И много у вас таких текстов?

— Есть ещё два.

— А где вы их опубликовали?

— Мне сейчас недосуг этим заниматься. Думаю сочинить ещё штук пять-шесть и издать в Москве. Кстати, приятель-сценарист предлагает сделать из этого рассказа сценарий и предложить кому-нибудь из знакомых режиссёров.

— У меня есть пьеса для чтения про жизнь Бенвенуто Челлини, я её условно называю сценарием. Может быть, посмотрите?

— Приносите. Я в литературе кое-что смыслю. Пять лет был редактором журнала «Ветви».

— Я поражён вашей разносторонностью, Кадя. Вы такой высокопрофессиональный таксист...

— Да, Бостон я знаю наизусть. Могу водить машину с закрытыми глазами.

— Я вам верю, но лучше не надо,— пошутил Лёня.— Потрясающе! — опять воскликнул Лёня и подумал:

— Так. Таксист он, возможно, классный, а что касается писательского ремесла и настоящей профессии, то я не уверен, что он закончил хотя бы педагогический институт. Впрочем, мне то что?

На следующую встречу Лёня принёс красиво изданную книгу со своей пьесой. Разговор не клеился, Кадя был в неприятном расположении духа, и Лёня вдруг предложил:

— А давайте-ка соберёмся у меня. Я мастер по изготовлению всяких вкусных настоек на водке и потом я отлично готовлю солянку с грибами, очень хорошо идёт под рюмочку.

Услышав приглашение, Кадя посветлел лицом и сообщил, что в гости приходит только с женой.

Он явился в сопровождении миловидной высокой женщины, славянского типа. Чтобы ей было не так скучно в обществе двух «*мужчин-литераторов*», Лёня позвал свою подругу. По совпадению обе они когда-то заканчивали консерваторию. Лёня ждал, чтобы Кадя первым сказал о его пьесе,

а Кадя ждал, чтобы Лёня первым попросил высказать своё мнение. Возникла некая напряжённость молчания, которую Каде пришлось прервать и он сказал сердито:

— Эта ваша пьеса и не пьеса, и не сценарий!

— Я знаю,— ответил Лёня.— Это пьеса для чтения. Есть такой жанр. У меня нет опыта в написании сценариев. Там десятки действующих лиц, но все они связаны с Бенvenuto Челлини. Я недавно смотрел итальянский современный фильм о его жизни в трёх сериях. Более глупого и ходульно-го действия я не мог себе и представить. Огромные средства потрачены на идиотские костюмы, но в реалии того далёкого времени совершенно не верится.

Самое главное, что меня увлекло, когда я писал пьесу— это рассказы великого мастера о своей работе. Я когда писал, всё представлял себе, как это было бы интересно— показать процесс создания шедевров, его необыкновенное умение, крупным планом его руки, руки, руки... И потом отметьте его необыкновенную храбрость. Он был человеком исключительного бесстрашия.

— Да, я нашёл там много интересных и даже остроумных диалогов, так что можно попытаться всё-таки сделать из этого материала сценарий.

— Я никогда этого не делал,— повторил Лёня,— и самое лучшее, что вы могли бы для меня сделать, это найти человека, который за соавторство возьмётся выполнить эту работу.

— У меня много знакомых в Москве и я попробую связаться с ними и послать им ваш текст.

— А что с вашим журналом «Ветви»?— спросил Лёня.

— У меня было двести сорок подписчиков, всё старые люди, так что через пять лет их число уменьшилось почти вдвое по естественным причинам, и журнал стал нерентабельным.

Беседа перемежалась умеренной выпивкой, гости отдали должное солянке с шампиньонами и, прощаясь, пригласили к себе. Уже в дверях Кадя сообщил, что у них в семье организовано нечто вроде филиала игры «Что, где, когда?»

и Лёня может попробовать свои силы в состязании с друзьями Кади.

— Ну, нет, — запротестовал Лёня, — для таких игр я совершенно не гожусь, памяти никакой. Зачем мне позориться? А вот, посмотреть со стороны было бы забавно.

— У нас, кстати, одна молодая пара очень хорошо поёт под гитару и часто обновляет репертуар, — сказала жена Кади, — так что приходите и послушайте. Мы регулярно собираемся раз в месяц и вот, на Рождество ждём вас тоже.

— Тебе охота к ним тащиться? — спросила подруга Лени после ухода гостей. — Все эти развлекашки такие вторичные, малопрофессиональные. И потом — тебя что же, заинтересовал этот таксист-энциклопедист? Ну да, ты говорил, что он отлично знает Бостон. Да любой таксист-американец в Бостоне знает город ещё лучше! Тоже мне профессионал из столицы нашей родины!

— Мне, как человеку пишущему рассказы, всегда любопытны разные людские истории, даже если это вдохновенное враньё. Нет, надо к ним сходить, поглядеть, как живут преуспевающие эмигранты.

Кадя был настолько любезен, что заехал за Леной. За день до этого был ужасающий буран, снегу намело — ни пройти, ни проехать. Однако мастерство Кади победило. Вскоре они оказались в довольно большой трехкомнатной квартире. В прихожей метров на пятнадцать вокруг стола стояли шкафы с гранёным хрусталём, а на столе громоздились бутылки с разного рода спиртным, в основном крепким. Главное же — везде стояли зажжённые свечи разных калибров, такой, знаете ли, каскад огней. Хозяйка сказала, что любовь к свечному освещению есть её хобби. Без этого праздник не праздник.

Она расстаралась и запекла лосося в духовке с травами и сыром. Пока ели и хвалили, Кадя рассказал пару нескромных анекдотов, которые прошли с успехом, так как дамы и кавалеры уже были немного навеселе. Когда хозяин

потчует гостей откровенными штучками, гости тоже могут вставить свои пять копеек в общее веселье. Однако подруга Леню одёрнула, и он вместо похабелы выдал славный анекдот про Эйнштейна, пришедшего к Господу.

Господь сказал:

— Ты славно трудился всю жизнь и заслужил исполнения своего самого заветного желания. Что бы ты хотел?

— Если можно, Господи, покажи мне уравнение всего мироздания...

— Смотри!

— Но там в четвёртом члене уравнения ошибка...

— Да я знаю, знаю.

Гости сдержанно посмеялись, а молодая математичка даже похвалила Леню за остроумие.

Потом Кадя объявил выступление певческой пары. Молодые люди деловито разложили тексты и запели-загрустили на личные темы.

— И мелодии, вроде бы, неплохие, и стишки приятные, неглупые, а вот не запомнилось ничего, — резюмировала подруга Лени, оказавшись дома.

После выступления Кадя стал предлагать гитару другим желающим, но гости отказывались за неумением. Тогда, лихо перекинув ленту через плечо, он загремел по струнам давно забытую песню Городничкого про пиратов:

— И никогда мы не умрём, пока Качаются светила над снастями...

— Какая, однако, идиотская фраза, — подумал Лёня, — ведь надо было бы написать другие слова: «И ни за что мы не умрём, пока...»

— Поскольку среди нас сегодня настоящий писатель, — объявил Кадя, — может быть он нас чем-нибудь удивит?

— Я бы с радостью, но боюсь наскучить прозой, — ответил Лёня, — я пишу изредка стишки, но поэтом себя ни в коем случае не считаю. Одно коротенькое я готов прочесть, поскольку даже сейчас, спустя двадцать пять лет оно злободневно в России.

*В стране, где торжествует мразь,  
Где гнусно лицемерит власть,  
И злых обид не перечесть,  
Где осенью глядит весна,  
Где просинь в тучах не видна  
И книгу судеб не прочесть,  
Где непонятно слово «Мир»,  
Где Лис крадёт последний сыр  
У нищих, клюнувших на лесть,  
Живи надеждой и лови  
Неясные слова любви  
Сквозь громяющую жесьть!  
Надейся! Вестник принесёт  
Больной стране Благую Весть.*

— А вы действительно скучаете по России? — спросила математичка.

— Я тоскую не по России, а по своей молодости, которой уже нет, и по друзьям, которые разъехались по разным странам или присоединились к большинству, как говорят англичане.

— А наша семья уехала в Америку в девяносто первом, мне тогда было двадцать два и я была очень рада навсегда покинуть эту *страну рабов*. Я не верю в Россию, да она мне и неинтересна.

То ли под влиянием спиртного, то ли действительно из чувства симпатии Кадя вдруг стал расхваливать гостям пьесу о Бенвенуто Челлини и уверять, что он постарается показать её знакомым сценаристам в Москве, может быть они соблазняются текстом и соавторством. Лёня при этих словах прямо раскис и стал горячо благодарить Кадю.

— Нам обязательно надо продолжать общение, раз оно приносит нам столько удовольствия, — сказал он, поднимая руку с прощальной рюмкой водки.

— Что ты, старый, так расчувствовался? — спросила Леню подруга, когда они остались вдвоём. — Неужели ты не видишь, что ничего он не сделает, потому что на самом деле никаких у него связей нет, он прекрасный выдумщик, человек воздуха. И эти барды тоже любители, дилетанты.

— Но он много лет был редактором русскоязычного журнала прозы и поэзии! — возразил Лёня.

— А ты видел когда-нибудь этот журнал? Читал его авторов? Наверняка это графоманский самострок местных гениев...

— Ну вот, сегодня последний визит к доктору, — сказал Лёня, садясь в машину. — Теперь, чтобы повидаться, нужно будет каждый раз назначать встречу. Вы не против повидаться на Патрик Дэй? Пойдём к моей подруге...

— Хорошая идея, — ответил Кадя.

— Очень мне хочется поехать в казино поазартничать, — сказал Лёня, — однако одному без напарников скучно. Не хотите составить компанию?

— Одно время мы с женой увлекались, нам в Фоксвуде даже предоставляли на пару дней номер бесплатно, а сейчас интерес упал.

— А случалось выигрывать?

— В казино — нет. Так, по мелочи. А вот однажды ехали в гости и по дороге один чёрный парень подошёл на автозаправке, предложил купить билет за пять долларов, мол, деньги понадобились. Я купил — и оказалось, что я выиграл восемь тысяч. Ну, мы отдали билет дочке, ей деньги нужнее.

— Что он всё время фантазирует? Нет таких выигрышей в лотерею, — подумал Лёня. — Сколько раз я слышал подобную историю, то с пьяным мужиком, то нашедшего выигравший билет в луже на улице...

Они принесли огромную бутылку водки и три дохлых гвоздики. Перед приёмом Лёня хотел было позабавить гостей детскими стишками Вадима Левина:

*...Мистер и миссис Бокли  
Достали из сундука  
Большие морские бинокли  
И орехи — четыре мешка...*

Под такие стишки хорошо выпить рюмочку-другую. Однако после пары рюмок Лёня совсем забыл о своём намерении и вытащил книгу со своими скучными стихами. Гости терпеливо выслушали, кое-что даже похвалили, а Кадя предложил выбрать что-либо для публикации.

Чтобы подбросить веселья в костёр, подруга Лени села за инструмент, и на два голоса они спели юношескую песенку:

*...Хочется к груди твоей прижаться,  
Хочется обнять-поцеловать,  
Хочется навек с тобой остаться,  
Хочется люблю тебе сказать...*

От этих незатейливых слов как-то даже потеплело в комнате. Кадя тут же добавил, что Лёня с подругой очень понравились молодым завсегдатаям их компании. Кое-как досидели вечер. Всё-таки очень, очень трудно сходятся люди, которым крепко за шестьдесят, а некоторым даже за семьдесят. Честно говоря, Лёня совершенно не нуждался в протекции Кади, у него уже вышла шестая книжица рассказов, хотя и крошечным тиражом. Так что самолюбие было удовлетворено полностью.

Жена Кади сидела рядом с подругой Лени и полушёпотом всё доискивалась, где и как они познакомились и как они решали семейные вопросы. Это было неприятно, и подруга после ухода гостей сказала, что с неё хватит, — и так они стали предметом бесконечных сплетён среди эмигрантов. Лёня согласился.

В своей жизни он так и не научился ставить во-время точку в отношениях. Поэтому он всё-таки послал Каде старый поэтический запас по интернету — пусть сам выберет, и если

что ему понравится, пусть тиснет в очередном сборнике для поэтов-графоманов.

Через неделю Кадя позвонил ему и сварливым голосом сообщил, что они договаривались об одном-двух стихотворениях и что он не собирается всё это смотреть.

— Хорошо, хорошо,— примирительно сказал Лёня, но Кадя, не дослушав, швырнул трубку.

— Мы разошлись, как в море корабли,— доложил Лёня по-друге.— Может быть нам станет скучнее жить без его фантазий, но я справлюсь, а ты?

Спустя месяц, Лёня встретился со своим издателем Синаевым, так как у него уже набралось пятнадцать рассказов для новой книги. Цена на выпуск тиража с каждым годом становилась всё выше, но не лежать же готовому материалу в столе, не так ли? Одни тратят деньги на путешествия, другие на наряды и хождение по ресторанам, а вот он — на публикацию своих воспоминаний о жизни. Его книги, выпущенные в свет благодаря Синаеву, хранятся в Библиотеке Конгресса, а там — как у Маяковского: *«Умри мой стих, умри, как рядовой...»*

Прощаясь, Лёня спросил, слышал ли тот о литературном журнале «Ветви», который, правда, уже не выходит из-за финансовых трудностей. Нет, Синаев о таком журнале никогда не слышал. Неужели и это оказалось всего лишь фантазией Кади?

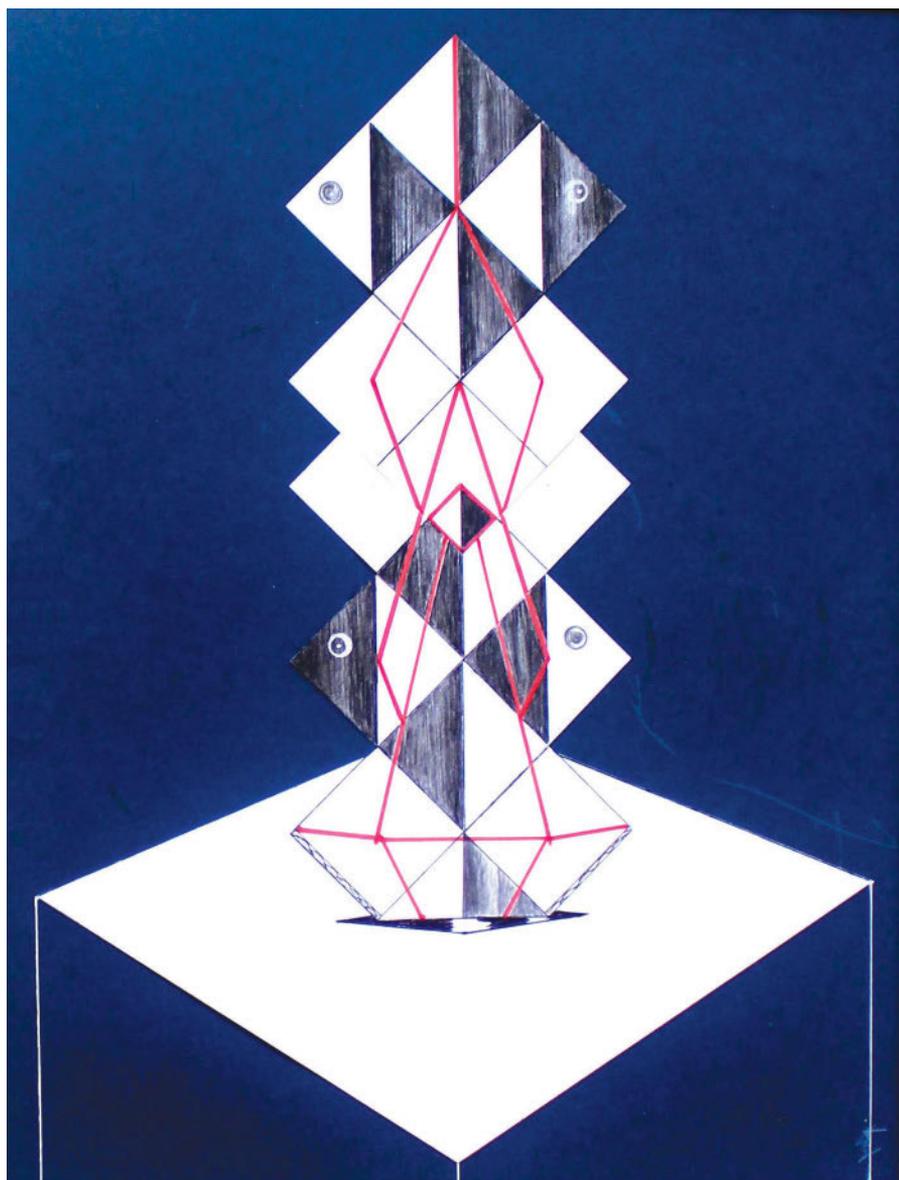
Спустя пару лет в местной библиотеке был очередная книжная распродажа. Лёня очень любил там бывать и при-таскивал домой по двадцать-тридцать книг любимых авторов. Вдруг на одной из полок он увидел крупноформатные тонкие журналы с роскошными картинками на обложках. Это же были «Ветви»! Пять штук из разных лет. По десять центов. Конечно, он их забрал. Так получалось, что почти в каждом сохранившемся номере была какая-нибудь вещь-ца Кади.

Он, конечно, не был главным редактором, а лишь входил в редакционный совет в составе шести человек. Как они там толклись на шестидесяти страницах, было непонятно. Тут на одного человека работы было на пару недель от силы, но сам факт существования красивого журнала вызывал уважение. Что же касается прозы, это были образцы явно не первого и даже не второго ряда, грамматических ошибок было неприлично много, настоящим, профессиональным редактированием и не пахло.

— Зачем же вкладывать деньги в предприятие, к которому относишься, как к халтуре? — удивлялся Лёня. — Единственное, что интересно, сохранил ли Кадя до старости свою таким странным образом приобретённую уникальную память? Как жаль, что не удалось выяснить! А что, если это тоже был лишь очередной миф, грех сочинительства?



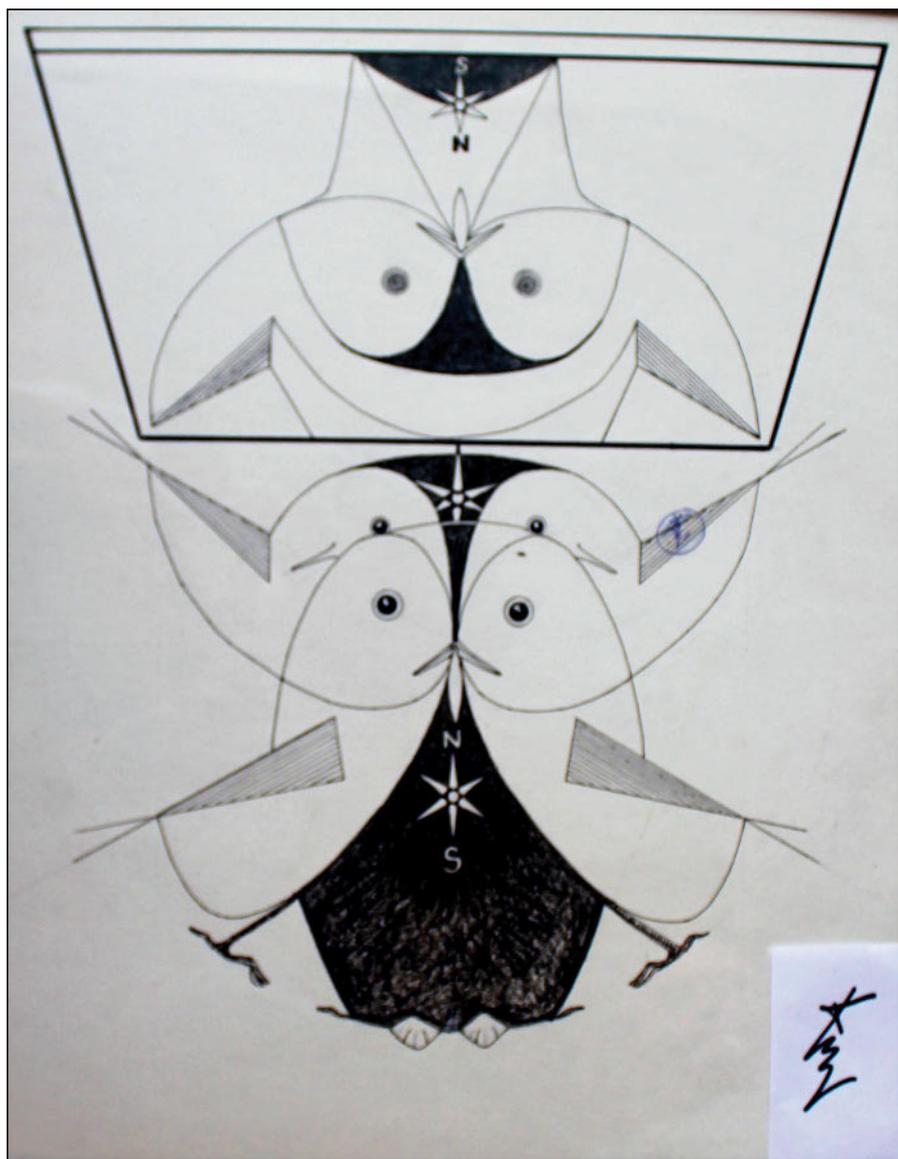
А. Толчинский. «Легенда о запретном плоде»



А. Толчинский. «Аквариум»



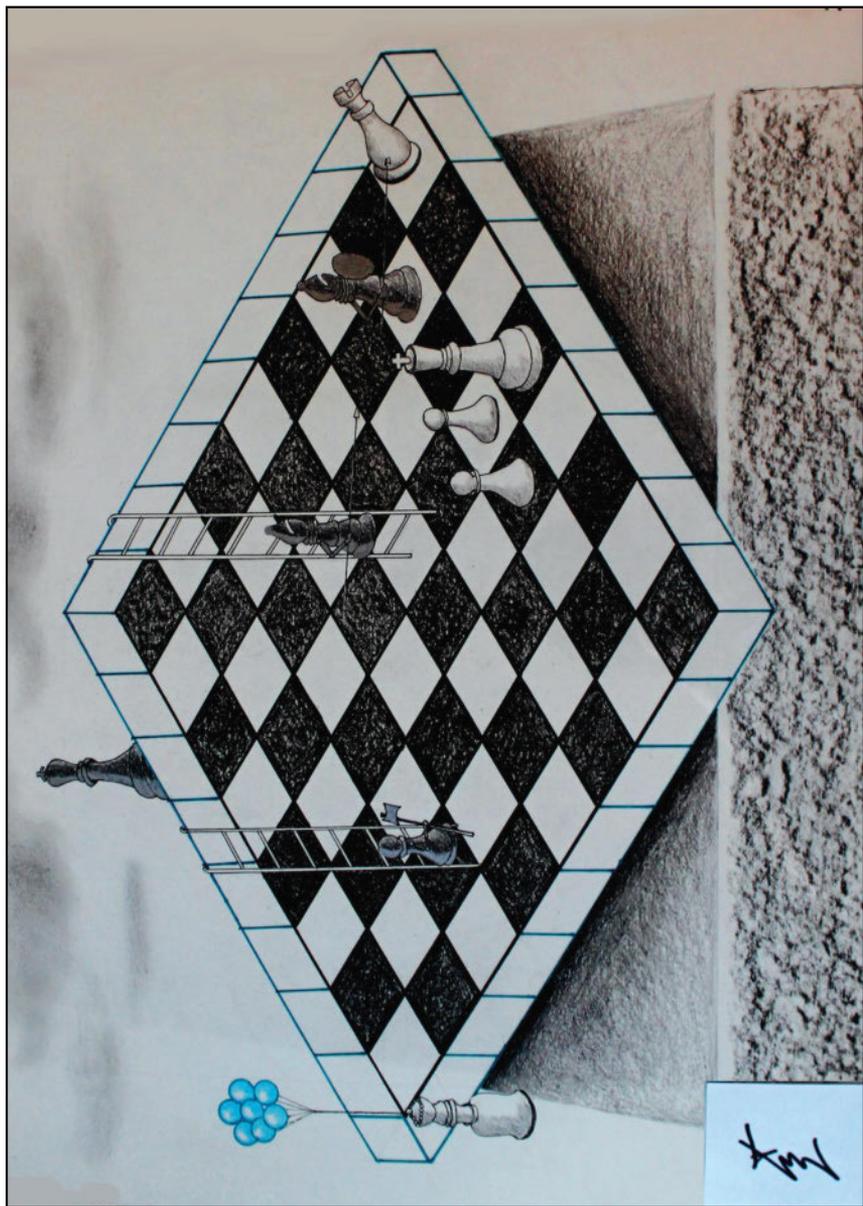
А. Толчинский. «Памяти Стивена Хокинга»



А. Толчинский. «Женщина и птицы»



А. Толчинский. «Любовь к античности»



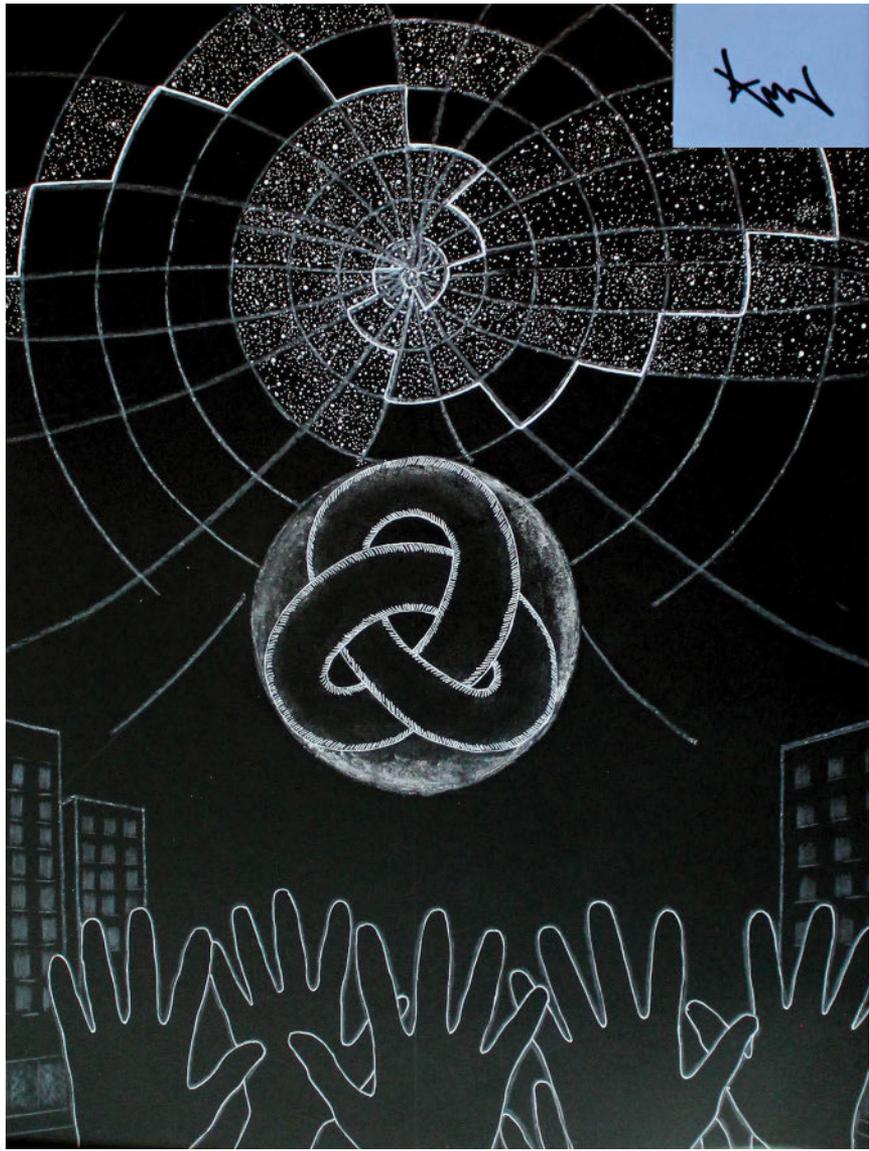
А. Толчинский. «По мотивам рисунка Сандро дель Прете»



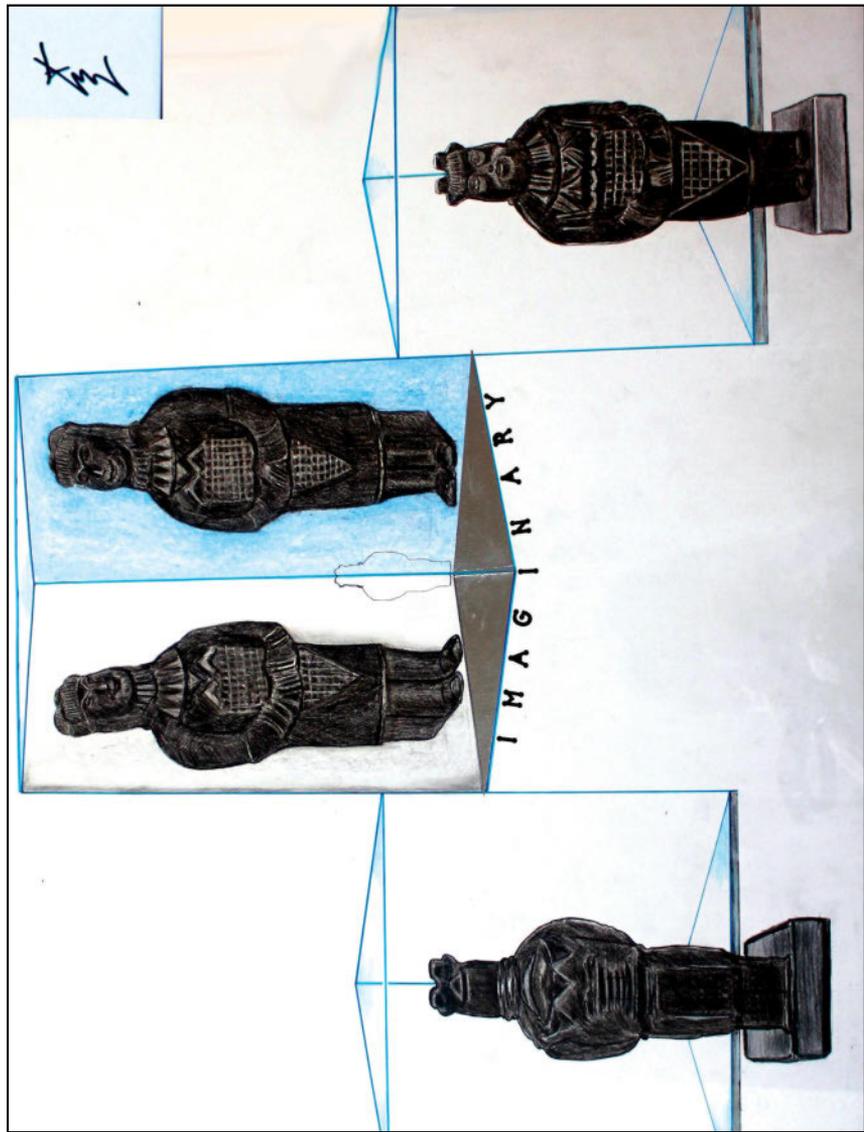
А. Толчинский. «Пришелец»



А. Толчинский. «Одиночество»



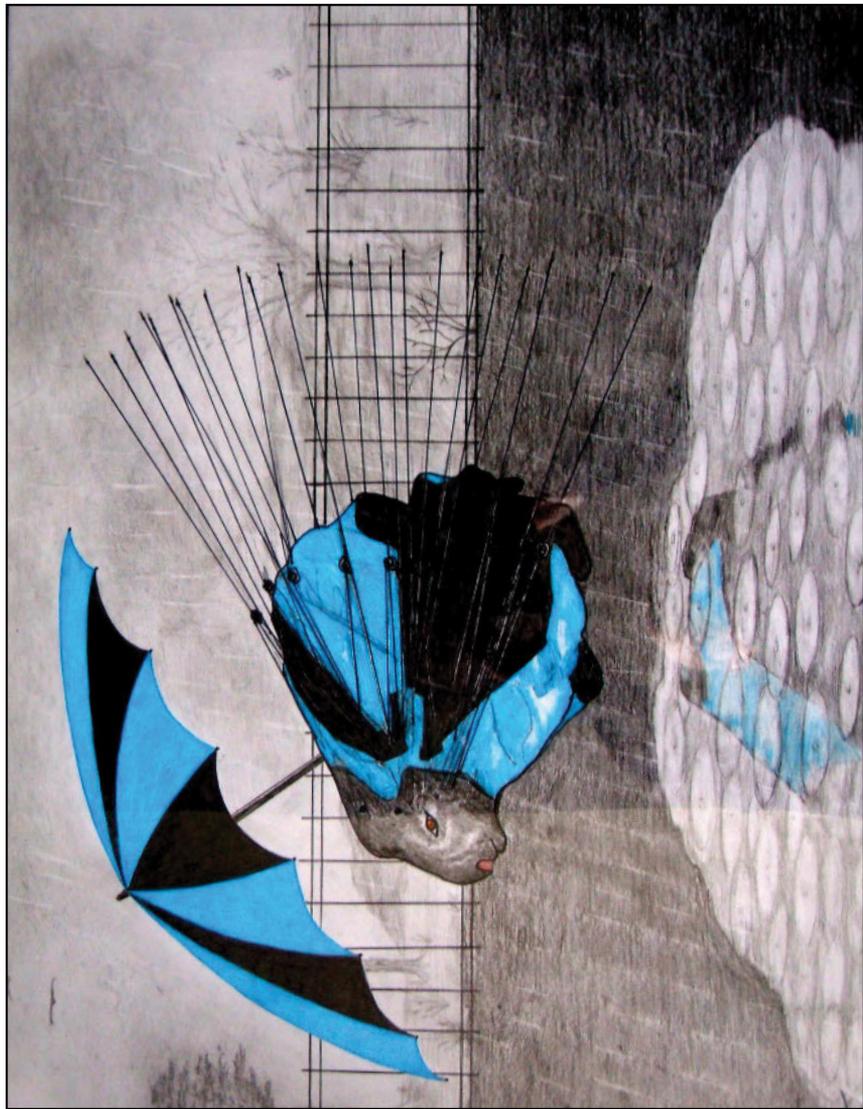
А. Толчинский. «Памяти астрофизика Хокинга»



А. Толчинский. «Действительное и мнимое»



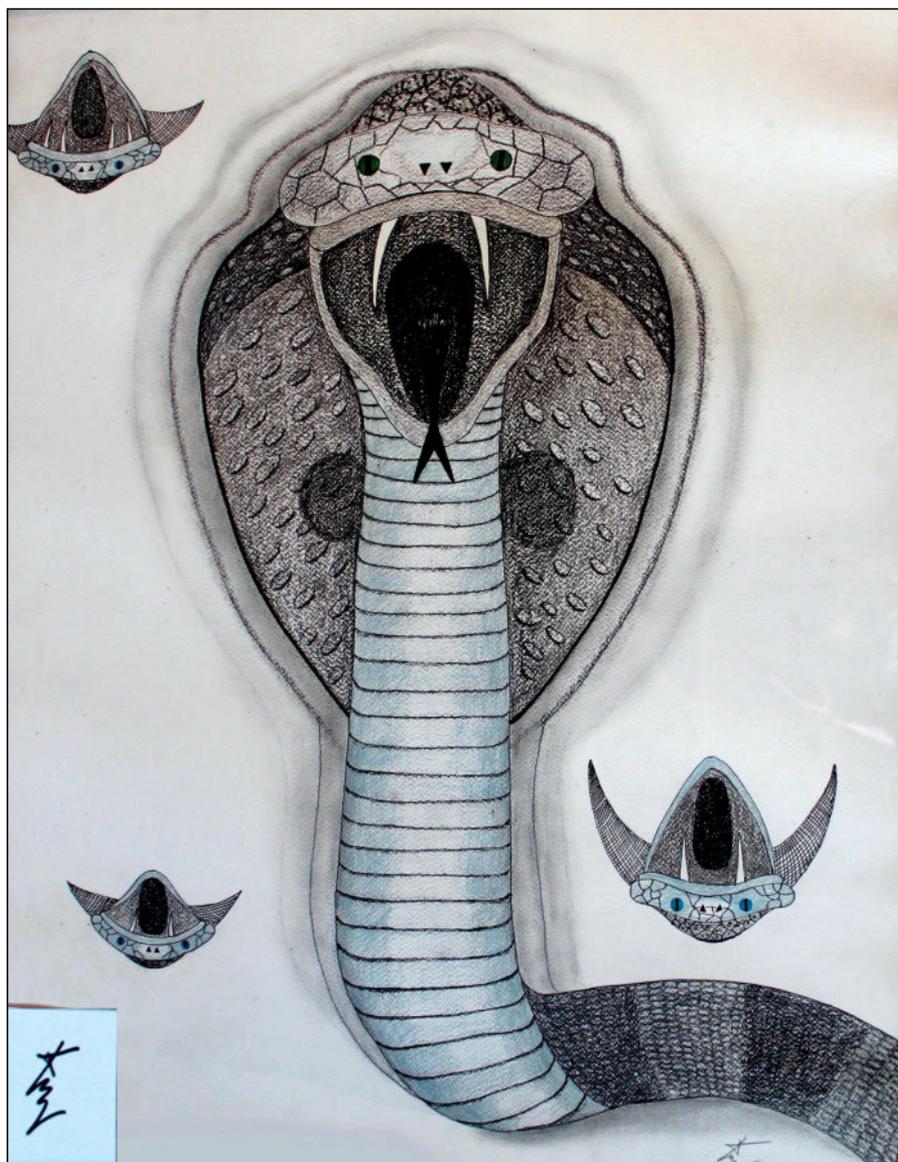
А. Толчинский. «Катастрофа»



А. Толчинский. «Трансформация»



А. Толчинский. «Шерезада»



А. Толчинский. «Вселенское Зло»

## Тётя Лиза

— ...**Я вошла в квартиру Лизы и увидела**, что она умерла, — продолжала мама прерывающимся голосом. — Под языком у неё лежал нерастаявший кусочек таблетки валидола. Я вышла на улицу и позвонила Вове и Тане, чтобы они приехали, но чтобы сначала позвонили в похоронное бюро и всё заказали. Ты знаешь, она жила на свою крохотную пенсию и никогда не жаловалась на недостаток денег. Я ей всегда перед Новым годом и на день рождения дарила десять рублей...

Семён кивнул. Он лет пять не видел родную тётку, а сейчас не испытывал ни малейшей жалости. После войны они жили в смежных комнатах почти семнадцать лет. В так называемой большой комнате площадью 12 квадратных метров мама и папа спали на самодельной кушетке с детской кроваткой в головах, Сеня на диване с высокой спинкой, а домработница-нянька Тамара на раскладушке посередине комнаты. В соседней, смежной комнате на девяти метрах обитали дедушка с бабушкой на железной пружинной кровати и тётя Лиза на диване. На границе двух комнат от пола до потолка висела одетая в гофрированный металлический лист печь-голландка. Тётя страдала хроническим бронхитом, и всё своё детство Сеня слышал непрерывный хриплый кашель, сопровождающийся сплевыванием мокроты. Рядом с диваном Лизы всегда стояла стеклянная баночка, обычно наполовину наполненная зеленоватой мокротой, к которой Сеня испытывал боязливое омерзение. В осенне-зимний сезон тётка болела чаще и «сидела на бюллетене». Ещё Семён помнил, что она бесконечно долго читала толстенную книгу Т. Драйзера «Гений». И вот, она умерла, дожив до семидесяти лет.

Когда сам Семён приблизился к семидесяти, он стал часто вспоминать ушедших, потом принялся воссоздавать их портреты и беседовал с ними по ночам. Потом он попытался написать что-то вроде серии рассказов, столь же однообразно-унылых, какова была прошедшая перед его глазами жизнь старшего поколения. К этому моменту он жил в Америке, получал пособие по старости и ни в чём, кроме дружеского общения не нуждался. Но друзей раскидало по белу свету, а самый близкий друг Миша ушёл намного раньше других. Оказалось, что потревоженная память иногда вызывает тягостные переживания, которые можно было бы назвать муками совести. Вот, взять, к примеру, тётю Лизу. У него сохранилась фотография, сделанная в тысяча девятсот семнадцатом году, где бабушка сидит с годовалой мамой и четырёхлетней Лизой. У бабушки спокойное и красивое лицо. Не скажешь, что она перенесла смерть двух своих сыновей. Один умер от дифтерита, а другой от дизентерии. Семёну жаль мальчишек. Было бы у него двое родных дядей, да и куча двоюродных сестёр и братьев. Хотя, скорее всего, всех их сожгли бы фашисты. А старшая сестра мамы, как он слышал, была очень посредственной девочкой, плохо училась, кое-как окончила бухгалтерские курсы и просидела всю трудовую жизнь в комнатках с такими же скучными бабёнками, щёлкая на счётах и составляя платёжные ведомости.

О прошлом тётя Лиза вспоминать не любила. Мама, как бы между прочим, однажды упомянула, что перед войной у Лизы был друг Гриша-флейтист, но началась война и они всей семьёй выехали в Башкирию. А после войны след Гриши потерялся. Вот так, мол, Лиза замуж не вышла. Вообще, Лиза ничего не умела делать. Если бы мама не выхлопотала ей место при отъезде, она осталась бы одна в Москве и пропала от голода и холода. То же самое произошло при возвращении из эвакуации. Лизе не достался обратный билет в Москву (кончался 1943 год, эшелоны с техникой и войсками непрерывно шли на Запад), и мама решила ехать «зайцем». Молодая, симпатичная, худенькая, она укрывалась от контролёров под

шинелью одного бравого капитана, возвращавшегося из госпиталя в действующую армию. Этот подвиг мама часто вспоминала во время ссор с сестрой, которые были нередки, учитывая скудость жизненного пространства.

Наверное, её можно было понять. Больная и неустроенная в свои 34 года она лежала ночами, почти касаясь ступнями голов своих престарелых родителей. Готовить еду она не умела и не хотела, потому как — а для кого? Она в то время работала в бухгалтерии в обычной московской школе и получала жалкие копейки. Там у неё были сложные отношения, и она, придя с работы, в лицах изображала перед бабушкой, какая сволочь её начальница. Бабушка при этом молчала и лишь стучала мисками и кастрюлями, которые мыла в тёплой мыльной воде в тазу. Начальница Лизы противно пищала, а Лиза отвечала веским контральто. Сеня всегда слушал этот монолог-диалог с большим вниманием, хотя по малости лет не улавливал суть.

В раннем детстве Сеня проводил много времени с Лизой, потому что она часто бюллетенила. Можно сказать, что они были в приятельских отношениях. Она научила его строить картонный домик и вытаскивать из-под него карты, чтобы он не рассыпался. Потом они играли в «Ведьму», где роль ведьмы предназначалась даме «Пик». Карточные игры процветали и во дворе, где малыши резались в «пьяницу», а школьники уже играли на деньги в «подкидного дурака». Тётя Лиза считала «пьяницу» игрой слишком длинной и скучной, а в «дурака» она играть не умела и не хотела. Зато оба они с увлечением играли в угадывание слов, когда за ошибку в угадывании партнёр начинал рисовать виселицу. Если виселица с жертвой доводилась до конца, игра считалась проигранной.

Семён часто вспоминал своё детство и поражался, как они тогда жили с одной чёрной тарелкой, без конца оравшей народно-патриотические песни в исполнении хора Пятницкого, без телефона, без телевизора, без горячей воды, и как, спустя всего лишь пятьдесят лет, все обзавелись мобильными

телефонами, стали обладателями компьютеров, и даже перестали смотреть телевизоры. А ещё удивительней было то, что игра с угадыванием слова стала супермодной, распространилась по всем континентам, и ловкие люди собирали многотысячные залы и зарабатывали на ней миллионы долларов.

В семье все любили музыку. Папа до войны учился играть на скрипке, но в первый раз Сеня услышал игру отца, когда они пошли в гости к Богановским и дядя Миша достал из шкафа старую скрипку. Папа сходу лихо заиграл что-то такое печальное, что у дяди Миши навернулись слёзы и он сказал Сене, что папа играет еврейскую мелодию. Мама и тётя Лиза ни на чём не играли, но очень мило пели. До войны они ходили в клуб имени Зуева в местный хор. Лиза даже была голосистой.

Когда все уходили по делам, Сеня тайком проникал в бабушкин шкаф и с жадностью рассматривал обтянутый красной кожей огромный альбом, где тётя Лиза хранила свои сокровища. Аккуратным почерком на сложенном вдвое листе там была записана песня «Бьются волны о берег скалистый...» Десятиклассником Сеня слышал, как эту песню исполняли дуэтом Лиза со своей подругой Тamarой, которая работала в театре «Ромэн». Но это было через десять лет, а тогда текст Сене не понравился, зато в альбоме были потрясающие открытки — скульптурное изображение обнажённой пары, девочки с лягушкой, открытки времён первой мировой войны с надписью с ятями, была и совершенно особенная открытка с седым человеком, одетым в пурпурную тогу, который явно что-то говорил, парусник, скользящий в закатном солнце. Сеня много раз пролистывал тяжёлые страницы альбома и запоминал, запоминал... Это было так непохоже на их тогдашнюю бедную жизнь... Потом, уже студентом он вспомнил, что обнажённые прекрасные фигуры были фотографиями работ Родена.

Нет, не зря тётя Лиза ходила петь в хоре. После очередной свары с мамой (а их было не перечесать, и всё по пустячайшим поводам) она удалялась в свою комнату и громко

напевала голосом, не предвещавшим ничего хорошего «Нас побить, побить хо-о-тели, нас побить пытали-ся-а. А мы тоже не сидели — таво дожидались...» или «...Нас не трогай и мы не тронем, а если тронешь — спуску не дадим...» Впрочем, набор воинственных песен был весьма обширен, их пели все и пели всегда — и дома, и на демонстрациях, и по радио.

Когда Лиза была в хорошем настроении, она шутила о своих кавалерах, которых мама называла *Лизиной кавалерией*. Однажды, когда мама выкупала Сеню и перенесла на кровать, чтобы насухо вытереть, тётя Лиза, продолжая рассказывать свой очередной роман, вдруг прервалась и громко спросила:

— Что это, Сеня, у тебя пипка такая маленькая? У мальчиков пипки должны быть вот такими! — она развела пальцы сантиметров на пятнадцать. Сене было очень стыдно, он уже учился в первом классе и там про это дело всегда было много разговоров. А мама лишь смущённо посмеивалась, наверное потому, что у папы пипка тоже была меньше, чем показала тётя Лиза, — Сеня видел в бане. Вообще Лиза любила солёные шуточки, чем восхищала своих немногочисленных подруг, особенно когда рядом находились заинтересованные мужчины, которых она называла *мальчиками*.

Мама нередко удивлялась, как это серьёзные и образованные женщины находят общий язык с недалёкой и некрасивой Лизой. Ну что они в ней находят?! Особенно маму возмущала дружба Лизы с Верой. Вера была инженером-химиком, была молода и сильна физически, обладала высоким ростом и милостивым лицом. Лиза была ниже её сантиметров на двадцать. Когда они шли по улице, длинноногая и неухоженная Лиза являла полный контраст с цветущей Верой. Так обычно мастера испанской живописи изображали дуэнью рядом с юной красавицей. Однако при знакомствах с *мальчиками* Лиза начинала такую клоунаду, что все покатывались со смеху, а Вера пожинала плоды представления. Она была незамужняя и обладала бешеным темпераментом. При этом мужиков она меняла, как перчатки, да позволяют читатели такую

банальность, хотя в то время перчаток почти не водилось. Вера могла себе позволить достаточно часто посидеть с Лизой в ресторане. Там мужики были более отважными и раскованными. Однажды к их столику подсел настоящий писатель, который пленился красотой Веры, и в доказательство своего ремесла вытащил кирпич страниц на шестьсот и паспорт, чтобы *девочки* убедились, что он не врёт. Лиза тут же сказала:

— Боже мой, какая толстая книга! Я её за год не прочту!

Писатель с Верой расхохотались, и сразу за столом возникла дружеская атмосфера. Через пару часов влюблённая парочка доставила Лизу домой на такси и унеслась, подгоняемая Амуром.

Иногда Лизе перепали крошки с барского стола, когда напарнику основного ухажёра после выпитой бутылки «*Московской*» носатая еврейка уже не казалась уродиной. Тогда они ехали на такси в большую комнату Веры, где было предусмотрено достаточно посадочных мест, которые в наши дни называют сексодромами. В одну из таких ночей очередной *мальчик* подарил Лизе парочку лобковых вшей, которые сильно её беспокоили, так как начали стремительно размножаться и пить кровь. Тётя Лиза встала перед зеркалом, которое висело в простенке между двумя окнами и принялась сбривать волосы с лобка, чтобы потом намазать его специальной мазилкой. Сеня, которому уже было десять лет, с огромным любопытством подглядывал за тётёй и даже пытался увидеть её отражение в зеркале. Бабушка была возмущена откровенным бесстыдством дочери, хлестала её посудным полотенцем, называла *стякой*, но Лиза стояла, как скала и методично делала своё дело.

Однажды тётя Лиза серьёзно разболелась, капризничала, ругалась с мамой, и в этот момент её пришла проведать подруга Вера. Навестила подобно святой Магдалине, спустившейся в этот типичный квартирный ад, который уже давно испортил нравы всех обитателей коммуналок, — жалкая комнатка с вонючим диваном, тремя стульями, пружинной

кроватью для стариков-родителей, буфетом и платяным шкафом. И всё это на девяти квадратных метрах вблизи Красной площади и мавзолея самого человеческого человека, который жил до революции в шикарных отелях Швейцарии, а потом в Кремле.

Тётя Лиза продолжала ругаться с мамой между приступами кашля, а Вера стояла подобно кариатиде, почти упираясь головой в заслонку на голландской печи. Сене было стыдно слушать тётину ругань при посторонних, и он не нашёл ничего лучшего, чем сказать Вере:

— Видите, какую подругу вы себе выбрали?

Вера вспыхнула и вполголоса сказала маме:

— Какая наглость со стороны вашего сына так обращаться к взрослому человеку!

После этого мама схватила Сеню за руку и пошла в свою комнату, приговаривая:

— Эта проститутка вздумала меня учить, как мне воспитывать своего сына!

Самый грандиозный скандал с Лизой разгорелся, когда папе, получившему должность главного технолога, дирекция подписала письмо-ходатайство о предоставлении ему телефона, ввиду особой ценности папы, как работника и руководителя коллектива, члена ВКП(б), участника восстановления шахт Донбасса и прочее. Соседи подписали справку, что им телефон не нужен, так что через два года переписки папа получил личный телефон, который мама установила на трехногом круглом столике с кружевной салфеткой.

О! Это было самое счастливое время! И для тётки Лизы тоже. О том, что можно удлинить телефонный провод за небольшие рубли, мало кто догадывался, так что желающий поболтать должен был стоять не более, чем в метре от аппарата, а в этом метре стоял стол, за которым как раз в это время семья обедала. В самый разгар разговора, когда клиент уже почти был загарпунен, мама возьми и скажи громко-громко:

— Чёрт возьми, неужели нельзя спокойно пообедать из-за болтовни с твоими хахалями?!

На другом конце провода намёк был услышан, и Лиза осталась наедине с короткими гудками.

Тётя Лиза тут же объявила маме войну.

— Ты сидишь и жрёшь и не хочешь сдвинуть свою задницу, и тебе нет дела до других. А телефон принадлежит всей семье, а не только тебе! А я пойду к соседям и мы напишем заявление, чтобы телефон вынесли в коридор, поняла?

Мама вспыхнула и заявила, что Лизины дела ей давно известны — она поставляет проститутке Вере мужиков... Тут Лиза вскипела и сказала, что мама — сама та ещё б..., что Лиза помнит, как мама хвасталась, как за ней в пионерлагере, где она была врачом, ухлёстывал один армянин-аккордеонист с очень большим аккордеоном... Тут Лиза согнула руку в локте и сжала её в кулак, изображая аккордеон. Мама вне себя завизжала:

— Убирайся вон, вонючка!

Лиза нарочито медленно вплыла в свою комнату, напевая *«И будет белым помниться, как травы шелестят, когда несётся конница рабочих и крестьян...»*

Папа, который невозмутито ел, не ввязываясь в скандал, мгновенно потерял аппетит и спросил шёпотом у мамы:

— Это что, правда?

Мама тоже шёпотом ответила:

— Слушай её больше!

Отношения между сёстрами испортились надолго.

Сеня слышал, как перед сном папа снова стал шёпотом пытаться маму, откуда Лиза знает про армянина. Мама с досадой отвечала, что она когда-то рассказывала Лизе о работе в пионерлагере и что у них действительно работал один молодой армянин, который ухаживал за всеми женщинами сразу, но ничего между ним и мамой не было и не могло быть, и пусть папа не морочит ей голову всякой ерундой.

Сеня из всего скандала понял только, что тётя Лиза обозвала маму матерным словом при всех и возненавидел её за

это на всю оставшуюся жизнь. Мама по прошествию времени остыла и когда вошла в солидный возраст, никак не могла понять холодного отношения сына к родной тётке.

В старости Семён думал, что конечно же, тётя Лиза завидовала маме и переживала свою неустроенность. Вообще нетворческая жизнь так устроена, что на работе в поте лица своего человек добывает хлеб насущный и рассматривает свой труд, как Божье наказание за грехи, которых, может быть, он и не совершал. Самое существенное в такой жизни — это свободное от работы время, которое каждый использует по-своему. Некоторые систематически и много выпивают, некоторые играют дотемна в домино или в карты, а тётя Лиза увлеклась вышиванием цветными нитками «мулине» по рисунку на сером льняном полотне. Сеня никак не ожидал, глядя на серый круг в пальцах, что через месяц на нём будет покачиваться ветка с сочными зелёными листьями и яркофиолетовыми сливами. Осенние сливы тогда были редкостью в магазинах и даже на рынке, а если они появлялись в продаже, хозяйки спешили побыстрее наварить из них варенье, так что наестся спелыми сливами вряд ли кто мог из детей, а о взрослых и говорить нечего.

Сеня рос, а тётя Лиза старела и становилась спокойнее, ей уже стукнуло сорок три. Подруга Вера куда-то исчезла. Появилась новая подруга Света, ладная и симпатичная, участница войны с протезом левой руки. Лиза стала с ней выходить в кино и на прогулки.

Неожиданно у тёти Лизы появился ухажёр, маленький и сухонький еврейчик, который очень стеснялся своей бедности и своё ветхое пальтишко всегда вешал в уголке за дверью на гвоздь, который был забит ещё до войны. Сеня с семьёй в эти времена повадились ходить в гости к Галине Плаксиной, которая вышла замуж за Николая Фролова, инвалида войны с орденом Боевого Красного Знамени на лацкане несменяемого серого пиджака. Там взрослые немного выпивали, закусывали и садились за карты. Играли в «Петуха».

Сеня в это время обычно шёл в соседнюю комнату, где жил его школьный приятель Сашка Дмитриев, с которым они играли в картёжную игру «Буру» и в «Очко». Когда это надоело, Сеня шёл домой, благо дом был в трёх минутах ходьбы. В этот раз войдя в свою комнату, он увидел зарумянившуюся от волнения тётю Лизу, которую трогательно держал за руку тот самый еврейчик. Увидев Сеню, он довольно поспешно ушёл, сняв с гвоздя своё дрянное пальтишко, а тётя Лиза вышла на кухню и сказала соседке Насте, что ей сейчас объяснились в любви и сделали предложение.

— Так что ж — выходите замуж, — ответила Настя просто.

— Но он такой бедный, очень бедный... — сказала тётя Лиза.

— Не в деньгах счастье, — ответила соседка.

Сеня был ошарашен — неужели в сорок три года можно испытывать какие-то любовные чувства?

Наконец, главному технологу дали однокомнатную квартиру в бывшей гостинице, выстроенной заводом для командированных специалистов. Поехали туда впятером, включая нянюку Тамару. Конечно, семнадцать метров не так много, но: горячая вода из газовой колонки, собственная ванная с душем, туалет отдельный. Что ещё нужно для счастья? Семья выехала, и тётя Лиза стала обладательницей отдельной комнаты. Дедушка умер за пять лет до того, так что они остались в двух комнатах вдвоём с бабушкой. Рядом с улицей Горького, близко от Кремля!

Как распространяется новость, что ещё не совсем старая женщина живёт в двух комнатах со своей мамой в самом центре Москвы, мы не знаем, но за Лизой стал ухаживать один пенсионер.

К этому времени отношения Лизы с сестрой стали почти лучезарными. Услужливые люди присмотрели для папы один участок в садовом товариществе завода, и папа купил его за небольшие деньги, так что теперь не надо было ехать на курорт, а можно было весь сезон дышать свежайшим воздухом

и выращивать овощи и фрукты. Лиза тоже стала наезжать и развлекала малолетнюю сестру Сени. Естественно, она поделилась с мамой, что у неё появился новый жених, совсем не такой бедняк, который был вначале. У Рафаила есть своя комната на первом этаже, правда небольшая и у неё нет обычного потолка, у неё потолок сразу второго этажа, так что чувствуешь себя, как в колодце. Рафаил образованный и знает немецкий язык.

Вскоре состоялась свадьба. Сеня пришёл туда, в старый дом, где прожил свои детские и школьные годы, отворил дверь и увидел за столом жениха с невестой и соседей (а их осталось в живых только трое), бабушку и родителей. Жених разглагольствовал на темы семьи и брака. Соседи распили с папой поллитра (жених не пил вообще) и были в приподнятом настроении. Тётя Лиза напоминала астру, простоявшую неделю в вазе. Рафа (как Сеня прозвал его с первой минуты) говорил очень громко, что свойственно людям невоспитанным. Его отвратительно подстриженные волосы стояли торчком и вообще он был изрядно уродлив.

— Ты студент? — спросил он вошедшего Сеню.

Сеня кивнул.

— *Ибунг махт ден мейстер*, — назидательно произнёс жених.

— *Не ибунг, а юбунг и не мейстер, а майстер*, — сказал Сеня.

— Ты не учи меня! Я работал переводчиком! — почти выкрикнул Рафа. — Если ты такой хороший специалист в немецком языке, то переведи: *«Морген, морген нур ништ хойте зуген алле фаулен ляйт»*.

— Завтра, завтра, только не сегодня все лентяи говорят, только не *зуген*, а *заген* и не *ляйт*, а *лёйте*, и не *ништ*, а *нихт*...

— Ты ещё молодой, чтобы меня учить! — очень громко сказал Рафа, но Сеня уже демонстративно ушёл в соседнюю комнату, приговаривая:

— Вот дурак! Говорит по-еврейски и думает, что говорит по-немецки.

У Рафы оказался очень скверный характер, причём больше всего доставалось бабушке, которая, как выяснилось, совершенно не умела готовить и разумно тратить деньги. Бабушка молчала, потому что любое возражение вызывало крик новоявленного зятя, и рассказывала о своих горестях младшей дочери. В конце концов, мама уговорила папу позвонить и по-мужски поговорить с Рафом. Когда тот подошёл к телефону, папа сказал:

— Слушай ты, сучий потрох, если ты не прекратишь цепляться к тётке, я приеду с моим другом, и мы так тебя отделаем, что ты будешь месяц валяться в больнице. Понял!?

На следующий день Рафа позвонил папе на работу и сказал, что хочет с ним поговорить, как коммунист с коммунистом. У папы было дел выше крыши, и он только спросил:

— А ты давно в коммунистах ходишь?

На что Рафа ответил:

— Я — беспартийный коммунист!

На что папа сказал:

— А я — настоящий коммунист и с таким говном, как ты, разговаривать не собираюсь!

То ли Рафа всё-таки доел бабушку, то ли срок её жизни истёк, но однажды она приехала посидеть и покормить се-стрёнку Сени, и у неё случился тяжёлый инсульт, от которого она в два дня скончалась. Сеня устроил сцену перед мамой с искусственным подвыванием, что, мол, Рафа-гад свёл бабушку в могилу. Мама смотрела на этот театр с одобрением. Получалось, что она в смерти бабушки невиновна. А причина воплей Сени была в нечистой совести, ибо в тот злосчастный день, когда паралич разбил бабушку, Сеня пронёсся мимо неё рано утром, торопясь в институт, и даже не повернул лицо, чтобы попрощаться, когда она тяжело спускалась по лестнице, чтобы купить молоко.

Тётя Лиза приехала, привезла лучшую бабушкину одежду, и теперь она гладила её блузку и то и дело всплакивала-хныкала:

— Мамочка... мамочка...

— Лиза очень переживает... Лиза очень переживает, — шёпотом повторяла мама Сене.

Народу похоронить бабушку почти не собралось, пришли только соседи. Настя вспомнила, как Сеня мучил бабушку, когда был подростком. А Рафа на похороны не пошёл, боялся, что папа с соседом побьют его — так он объяснил Лизе. Вообще Рафа стал вести себя всё более и более странно. Кончилось дело тем, что он вообще целыми днями лежал в постели лицом к стене и не отзывался на приглашение покушать. Лиза вызвала неотложку, и медбратья сволокли Рафаила в больницу, где ему поставили серьёзный психический диагноз и заперли в доме умалишённых. Лиза покорно навещала его ещё с полгода, а потом развелась, потому что он перестал её узнавать. Где-то через год, благодаря усилиям медсестёр и врачей, Рафа отошёл в лучший мир, освободив место для следующего жениха.

К этому времени развалюха, в которой жили три поколения уже известной вам семьи, окончательно развалилась, оставшихся жильцов расселили и тётё Лизе досталась комната в знаменитом десятиэтажном доме почти напротив Белорусского вокзала с огромным гастрономом на первом этаже.

Если к моменту переселения тётти Лизы отношения с мамой были хорошими, то теперь они стали просто идиллическими. Лиза неизменно присутствовала на четырёх днях рождения, на дне бракосочетания и на встрече нового года, на главных политических праздниках. Мама очень любила принимать гостей и, выпив рюмочку водочки, становилась очень весёлой, смеялась и пела песенки. Лиза пила немного вина, сидела молча, но с улыбкой. Грелась у семейного очага. Невероятно, каким образом она скопила денег — целых сто пятьдесят рублей и купила в комиссионке чайный сервиз «Мадонна», который папа называл *сервизом с б..дями*. Этот сервиз тёття Лиза торжественно объявила наследством для милой племянницы.

Жизнь старшего поколения стала напоминать движение по хорошо укатанному шоссе — без рытвин и ухабов. И надо ж такому случиться, что тётя Лиза встретила видного мужчину, непьющего еврея, с которым начала встречаться, и который вскоре предложил ей руку и сердце. Сене было некогда отслеживать успехи своей тётки на любовном поприще, у него уже была своя семья, и вообще к своему родству он относился холодно, как, впрочем, и к маме с папой.

А их дачу-дачурку с воняющими со всех сторон уборными братьев по садовому товариществу он люто ненавидел, потому что мама каждый раз звонила ему на работу и говорила, что он никуда не годный сын, который не желает помочь вскопать участок и заодно подышать свежим воздухом. Когда же Сеня приезжал, папа вручал ему лопату и отмерял размер участка, который предстояло вскопать. Тётя Лиза, конечно, ничего не копала по слабости здоровья. Она сидела на веранде и чистила картошку и разные овощи, которые росли на грядках.

И вот, эта семейная идиллия была нарушена вторжением в семейный круг мужчины килограммов на сто. Мужчину звали Юра, и жил он на станции «Строитель» в квартирке на втором этаже крошечного домика с оштукатуренными и когда-то побелёнными стенами. Ему даже принадлежал совсем крошечный кусочек двора, где его последняя жена посадила пару кустов крыжовника. Короче — тётя Лиза перестала регулярно бывать на дачурке и впала в любовный угар. Мама сопровождала её в ЗАГС, где все, кому было положено, поставили свои подписи. Когда Лиза шла в раздевалку с мамой, она сказала со злой радостью, как бы воздавая отмщение неприветливому к ней миру:

— Лиза — дура! Лиза — необразованная! Лиза — уродина! А какого Лиза себе мужика отхватила!

Папа с мамой скинулись на шампанское и тут новобрачный открыл рот и сказал почти стихами:

— Я — рр-ракета! Меня запустили в космос и я упал на Звезду-Лизу!

Всю эту сцену со смехом мама потом пересказывала Сене в обеденный перерыв между сельскохозяйственными занятиями.

Постепенно стала известна трудовая биография Юры. Он оказался нетрудоспособным и получал мизерную пенсию по инвалидности, где-то сорок пять рублей по тогдашней сетке. Так что его сто килограммов объяснялись нездоровой отёчностью. Примечательно было другое. Он уже был женат три раза до Лизы и в две семьи из трёх платил алименты за произведённых им детей. Кажется, максимальное отчисление от заработка на алименты составляло тогда тридцать три процента. Сеня искренне пожалел бывших подруг Юры, получавших что-то около семи рублей в месяц на семью.

Мама постеснялась показывать Юру своим гостям, тем более что любила приглашать свою начальницу, и тётя Лиза обиделась по началу, и пару раз пропустила семейные праздники ради *своей* «семьи». Потом она появилась, как ни в чём не бывало и так же тихо сидела среди гостей, выделяясь бледным нездоровым цветом лица и чрезмерно длинным носом. Однажды Сеня подсел к ней и спросил, как они ухитряются жить на свои пенсии. Тётя Лиза сказала, что она покупает пачку «сибирских» пельменей (они тогда стоили 50 копеек), варит их, вытаскивает и это у них второе, а бульон она заправляет овощами и это первое.

— И так каждый день?

— Почти каждый день...

— Я бы взбесился!

Тётя Лиза спокойно улыбнулась.

Потом Семён вспоминал, что тётя Лиза при жизни бабушки никогда не готовила. Приходила с работы, ела и садилась вышивать или чаще — ложилась и слушала радио, лениво пролистывая журнал «Огонёк». Комнату она тоже не убирала. Мама и бабушка звали её лентяйкой. Даже свои захарканные зелёными выделениями носовые платки она скапливала в правом ящике старого буфета, чтобы выстирать их не чаще раза в месяц. В те времена она очень любила песню

с припевом *«Пой, гитара, пой, моя гитара»* Сеня всегда помогал ей петь, добавляя:

— Пой, моя лентяйка.

Юре пожилая жена вскоре наскучила, и он всё чаще отправлялся к себе на станцию «Строитель». Она его особенно и не держала. Что пользы в стокилограммовом мужике, который согласен до конца жизни получать на руки тридцать пять рублей в месяц, лишь бы не работать? Однажды в конце апреля он уехал и пропал. Лиза попросила маму поехать с ней и проверить, что с ним. Дождались воскресенья и поехали. Оказалось, что домик сгорел. Но не сам по себе. На первом этаже жил один грузчик с овощной базы, который в тот день ужасно напился и забыл выключить плитку с чайником. Пожар быстро охватил весь домик, жители первого этажа успели выбежать, а Юра и ещё одна жилища, видно, задохнулись до приезда пожарных.

— Ус-сё схорело, — прошамкала местная беззубая старуха, которая тёрлась поблизости и жаждала получить рублишко за информацию. Ещё через пару недель стало совсем тепло, и Лиза поехала в поселковый совет, где ей дали бумажку, что теперь она вдова. Мама в утешение подарила ей двадцать пять рублей. Так дожили до осени, а в ноябре Лиза сильно простыла, позвонила маме, что плохо себя чувствует, в мокроте появилась кровь. Мама приехала вовремя: у Лизы, видимо, лопнул сосуд в бронхах. Мама вызвала неотложку и попросила врачей перевезти больную в свою больницу, где работала ларингологом. Пользуясь хорошими отношениями с главврачом, она продержала Лизу на постельном режиме почти месяц. Лиза вела себя, по рассказам мамы, безобразно, капризничала, устраивала ей скандалы, бранила медсестру и нянечку, *как будто кто-то был обязан ей уделять особое внимание*. Наконец её выписали, и семья стала её навещать и приносить продукты, пока она не окрепнет. Если человек тебе безразличен, ты воспринимаешь уход за ним, как несправедливо наложенную на тебя тяжёлую повинность. Так или почти так Сеня воспринимал просьбу мамы навестить

Лизу с очередной продовольственной посылкой. Всегда это было как-то не вовремя, а своё свободное время Сеня ценил превыше всего.

Но вот, наступило тепло, Лиза немного окрепла и её характер улучшился. Не просто улучшился, а стал просто мёд с сахаром. Она объявила сестрёнку Сени своей наследницей и так оно впоследствии и получилось. После её смерти молодая семья получила тот самый неполный немецкий *сервиз с «б..дьми»* (который был на самом деле польской подделкой), малоизношенный холодильник и триста рублей на сберкнижке. Но пока жизнь продолжалась. Старение дарит людям неограниченный ассортимент болезней, в том числе и психопатических. Тётя Лиза стала испытывать страхи и плохо спать по ночам. Когда Семён лет через пять после описываемого выздоровления навестил тётю, он поразился произошедшим в ней внешним переменам. Перед ним стояло странное существо с косо всклоченными седыми волосами, чёрными тусклыми глазами, бесформенным туловищем, одетое в нелепые старые тряпки, что-то напоминающее одну из затасканных старых тряпичных кукол, которых раньше часто можно было видеть в мусорном ящике во дворе. В комнате тёти почти не было мебели, у одной стены стоял сервантик со знаменитым сервизом, а у другой — большой холодильник «ЗИЛ». Большая квартира казалась необитаемой, в ней царствовали тишина и пыль. Семён обратил внимание на старый, тёмный от грязи, но добротный паркет явно довоенного образца. Оставив продукты, он поспешил распрощаться.

Мама в конце концов тоже устала от Лизиних проблем. Лиза звонила часто, по несколько раз в день, потому что ей было страшно сидеть в одиночестве. В те дни, когда Семён навещал маму, он нередко видел, что мама, занимаясь домашними делами, держит похрюкивающую телефонную трубку плечом (тогда уже можно было заказать длинный телефонный провод) и вставляет односложные комментарии типа *да, да-да, ну, и что*, при этом делая гримасы

присутствующим — мол, как эта несносная сестра меня утомляет!

Неожиданно кому-то из чиновничьей своры наверху пришла мысль, что в роскошном десятиэтажном доме с видом на Белорусский вокзал живёт всякая рвань, которую пора расселить в *хрущёбах*, а дом отремонтировать и передать слугам народа, то есть работникам Моссовета. Никому из жильцов в те времена не могло прийти в голову, что у них есть какие-то права жить там, где они живут. Власть сказала — исполняй! Сестра-наследница с мужем помогли тётке Лизе перебраться в пятиэтажку у чёрта на куличках. Слава богу, в подъезде рядом был телефон, так что можно было в случае острых проблем со здоровьем позвонить в «неотложку». Мама наменяла двушек на три рубля и строго наказала Лизе звонить каждый день.

Снова пришла холодная осень. В один из дней Лиза позвонила маме и сказала, что у неё болит сердце.

— Иди домой, я сейчас приеду, — ответила мама и побежала ловить такси. Приехав, она тотчас вызвала неотложку и попросила врачей доставить Лизу в свою больницу. У Лизы был диагностирован инфаркт, а технология лечения была в те годы весьма примитивна. Больному предписывалось долго и неподвижно лежать, кололи глюкозу и витамины, давали разжижающие кровь препараты, успокаивающие средства. Лиза провела в больнице, благодаря маминым связям, полтора месяца, а потом мама ещё пробила ей путёвку в сердечно-сосудистый санаторий. К апрелю Лиза уже потихоньку гуляла и даже собиралась приехать к маме на дачу. Однако, видимо, творец миров решил, что женщина, страдающая хроническим бронхитом, больным сердцем и приступами депрессии, уже достаточно пожила, и пора ей освободить место под солнцем для другой, народившейся жизни, которая, как знать, может быть, окажется и счастливее, и содержательней...

## Тётя Зина

**ОНА БЫЛА МЛАДШЕЙ СЕСТРОЙ И, ХОТЯ РАЗНИЦА** в возрасте была всего три года, молча признавала её власть, потому что Нина всегда была умницей и отличницей, а Зина учиться не любила, у неё это плохо получалось. У неё и память была слабее. У Зины было одно преимущество — она была уютная, мягкая, никогда не могла сказать резкое слово, обидеть.

Каждый человек стремится к достижению личной цели, скорее всего, чтобы признаться самому себе однажды: всё-таки я кое-чего добился в жизни. А чего добилась тётя Зина? Лучше всего об этом могла бы рассказать племянница Таня, которая родилась, когда Зине исполнилось семнадцать. Обе сестры жили в отдельной квартире под крылом своей властной матери, которая правила семьёй не хуже, чем Екатерина Великая своим двором. Были и недостатки в их жильё, скажем, удобства были во дворе, воду брали из колонки, но воинствующий дух матери возражал — зато отдельно! Не надо тереться задницами на общей кухне! Да что говорить! В послевоенном Харькове просто иметь крышу над головой уже было роскошью. Нина, когда выросла и стала инженером-сантехником, повела борьбу за водопровод и вместе с мамой они выиграли эту битву с министерством коммунального хозяйства. Правда, мама была в этой битве тяжёлой артиллерией, поскольку работала в Горздраве.

Кроме дефицита жилья после войны, в Харькове был большой дефицит здоровых, не искалеченных войной мужиков. На Нину положил глаз один худой и высоченный еврей по фамилии Шрайер («Крикун», если перевести с идиша на русский), который уходя на фронт обещал ей:

— Если вернусь живой, ты будешь моей!

И надо же — вернулся и женился! Жить молодой паре, разумеется, было негде, так что, как в известном теремке Маршака, все немного подвинулись и впустили пришельца. Он устроился преподавать студентам марксизм-ленинизм в институте инженеров железнодорожного транспорта. Следует сказать, что сейчас с позиций свободно мыслящего человека это занятие можно считать мерзким, но переписывать историю, безусловно, не следует. Что было, то было и с этим надо смириться. В противном случае нам предстоит каждые четверть века изменять русло реки Истории в угоду очередному властителю. Американцам или того пуще — британцам эти обезьяньи ужимки и прыжки покажутся скорее скучными, чем забавными, но мы в бывшем СССР только тем и занимались, что как *бандерлоги* всё время искали себе нового царя, чтобы подсунуть свои головы под его сапог.

Шрайер тяготился деспотизмом тётчи, да и условия жизни его стесняли. Семья, хоть и владела тремя комнатами, но имела слишком отдельные санузлы, то есть ходили во двор в выгребную яму, а воду забирали из колонки и затаскивали на второй этаж в вёдрах. Помои и мусор потом стаскивали уже в других вёдрах во двор. Правда, эту неприятную работу всегда делал тесть, который часто удивлялся нарушению закона сохранения материи и энергии:

— Как это получается из двух вёдер воды пять вёдер помоев!

Что так не устраивало Шрайера, мы уже никогда не узнаем, хотя подозреваем, что в глубине марксистской души созрели противоречия (а про движущую силу единства и борьбы противоположностей-противоречий мы все учили), и когда на свет появилась девочка Таня, он собрал тощий портфель и ушёл в общежитие, чем очень обрадовал тётшу. Она очень любила маленьких, но всегда была неприветливо-холодна к взрослым.

Когда Тане исполнилось пять лет, тётке Зине было уже двадцать два, и они очень подружились. Нина день и ночь пропадала на работе, потому что Харьков бурно строился,

а городские дома без сантехнических удобств, извините, уже не городские дома, а сельские. Тётя Зина уже заканчивала институт, в котором когда-то преподавал Шрайер. Его в 1951 году выперли, как безродного космополита, а он руками ничего делать не умел, мог работать только языком, так что с работой у него стало совсем плохо, а с алиментами и того хуже. Нина потом долго повторяла, какая же она была дура, что связалась с этим неумёхой и проходимцем и наставляла Зину, чтобы та смотрела внимательно на своих возможных женихов и не совершила такую же роковую ошибку.

Так вот, Зина заканчивала институт, когда к ней подкатил один из студентов с соседнего потока. Был он приличного роста, плотный, не нахальный. Приехал из деревни, что в пяти километрах от Харькова. Там у него родители и сестра. Получил хорошее распределение — определили его в эксплуатационное бюро, а Зина пошла работать в депо ЮЖД. Казалось бы — ну чем тут гордиться? Но Борис гордился своей фамилией — Тверской, Борис Васильевич Тверской, не какой-нибудь там Охрименко или, не дай бог, Фельдман. Гордился он и молодой женой. Зина в свои двадцать два была хороша! Темноволосая, с тонким породистым лицом, статная, высокая... на пять сантиметров выше Нины.

Так уж совпало, что обе сестры почти одновременно обзавелись мужьями. К Нине прибился очередной еврей — Бердичевский, человек серый и тихий, но полезный по части добывания продуктов и поддержания чистоты в жилище. Мужики вселились в ту же гостеприимную тётчину квартиру. Тёща, мудрая женщина, задолго просчитала, что с двумя девками надо прежде всего держать наготове площадь, а мужики сами набегут. *«Кто-кто в теремочке живёт?..»* — и оказалось их семеро, считая маленькую Таню.

Лёжа в постели и окидывая мысленным взором семейный трехкомнатный ковчег, Тверской повторял то и дело Зине:

— Держись, Зайка, будет у нас своё настоящее городское жильё с водопроводом и туалетом, и не надо будет тебе бегать с помойным ведром по двору. Знаешь, в чём моё отличие

от Нининого мужа? — добавлял он обычно. — Я назван в честь великого старинного города Тверь, а он — в честь воняющего чесноком Бердичева! И вообще он страшный зануда.

Правду сказать, от Бориса изрядно несло зоологическим антисемитизмом, но пока он жил у тётки, в которой тоже была четвертушка еврейской крови, он остерегался напрягать семейные отношения. Поэтому он за глаза звал Бердичевского просто занудой. К тому же теперь Борис жил в Харькове, прежней столице Украины, и это тоже ставил себе в заслугу — вот, из деревни, а добился, окончил столичный ВУЗ и устроился на хорошую работу! Потом, спустя годы, по настоянию матери поддерживая родственные отношения, сестры приглашали друг друга в гости. Отказываться было неприлично и почти всегда Борис упивал Бердичевского, и тот мучительно блевал, приходя домой. Борис, напротив, выпив, становился отважен и красиво косил хмельным глазом по симпатичным сёстрам. У него был неплохой слух, и он непременно в конце вечеринки во всю ширь грудной клетки распевал *«Славное море — священный Байкал»*. Неизвестно почему, но на всём горемычном пространстве *от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей* русские и не вполне русские люди обожали драть глотку этой песней после стакана водки.

Зина была инженером никаким, в транспортных проблемах ничего не смыслила, но писала *«на ваш номер... наш номер»* аккуратным круглым почерком, за что её хвалила и ставила в пример другим старая машинистка Анастасия Павленко. Зато Зина была мягким и совершенно независтливым человеком. Она свято верила мужу, что он выведет её к счастью, надо лишь чуточку потерпеть. Через год после свадьбы она подарила мужу первенца, а тут как раз незадолго подошёл Сталин,\* и в Украине стало как-то легче дышать.

---

\* Пусть не морщатся любители словесности, но великого учителя отравили, как крысу, его рабы-соратники.

Нина с Бердичевским занимала меньшую полутёмную комнату, так уж исторически сложилось — она ведь сперва была разведёнка, потому злилась на свою судьбу и отыгрывалась порой на несчастной Таньке, то и дело попадавшей под горячую руку, но естественно, как все маленькие, Танька боготворила свою маму. Зина решительно вставала на защиту племянницы, говоря сестре, что так с детьми нельзя, и уводила Таньку к себе.

Бердичевский вселился к Нине как раз, когда Танька была в детском саду, так что вечером накануне сна Нина сказала матери, что жить втроем *в этом чулане* невозможно и пусть, мол, она приютит внучку. А у неё нет никакой личной жизни, и потому она будет свои права отстаивать. В этом чулане, кстати, стояло добротной работы старое пианино, собственность бывшего владельца, известного в Харькове врача-гинеколога. Владелец исчез в начале войны, скорее всего, попал к фашистам и они его застрелили. Мать ни под каким видом не соглашалась продать инструмент, говоря, что он пригодится её внукам и как в воду глядела — оба стали музыкантами. Бердичевский, осматриваясь, пробурчал в том плане, что только пианино в этой тесноте им не хватает, на что Нина неожиданно резко сказала:

— Потерпишь! — и он успокоился.

Короче, — Нина быстро договорилась с матерью, что Танькину кровать она поставит у неё. Бедная Танька пришла из детсада и обнаружила, что её выперли самым хамским образом. Мама даже не снизошла до предварительного разговора с ней, за что Зина горестно её упрекала:

— Как же так можно с ребёнком, тем более с девочкой!

Танька рыдала, вцепившись в железную кровать и старалась втащить её обратно «к милой мамочке». В её головке никак не укладывалось, что именно мамочка предала её детскую любовь. Зина очень переживала детские слёзы и пыталась урезонить сестру, но та лишь кинула:

— Своих детей заведи и воспитывай! —  
на что Зина, вспыхнув, крикнула:

— И заведу! И заведу! Не беспокойся!

Слово своё она выполнила и когда Таньке исполнилось семь лет, у неё появился братик Серёжа.

К тому времени Зануда с Ниной тихо слиняли в малонаселённую коммунальную квартиру, где получили комнату. Для того он и перешёл работать в строительное управление, где с достоинством носил кожаную папочку на подпись начальству и не расставался с ней полный рабочий день, а бывало и домой приносил *«для работы с документами»*. Высшего образования он не имел и всем говорил, что этому помешала война, а теперь, мол, что уж начинать, когда всё позабыл...

На фоне пусть небольшого, но всё же успеха Зануды, Борис поклялся сам себе, что ляжет костью, но сделает квартиру для своей семьи. На ловца и зверь бежит, не так ли? Тут власти разрешили самострой, то есть люди в свободное от работы время могли найти подрядчика и своими руками с привлечением небольшого числа рабочих-строителей выстроить себе жильё. Борис вошёл в такой активный коллектив и больше года работал вечерами и по выходным дням, воплощая мечту в реальность. Ещё через полтора года они въехали в небольшой дом на двенадцать квартир, выстроенный в красивом месте на кособоре, из-за чего часть дома была трехэтажной, а часть — двухэтажной. У них была современная двухкомнатная квартира с горячей водой, ванной комнатой и отдельной уборной. Так Танька осталась одна в огромной бабкиной квартире, чему она и бабка радовались от души, потому что не мешали друг дружке жить.

В один из вечеров, глядя на уснувшего Серёжу, Борис сказал Зине:

— Так. Квартиру я сделал. Теперь мне нужно перевести тебя в приличное место, где бы ты была при своём деле, пусть и невысоком. Пойдёшь в вагоноремонтные мастерские в отдел технического контроля. Работа тихая, непыльная, сидячая. Что ещё нужно женщине?

Зина взглянула на мужа с благодарностью — вот настоящий мужик, рукастый и упорный...

Танька росла, ходила в музыкальную школу, часто бывала у тёти Зины ещё и потому, что непременно принимала там горячий душ. У бабки всё так же по старинке грели воду для мытья. Жить с *родителями* Танька терпеть не могла, тем более что от бабушкиного дома до музшколы было пятнадцать минут пешком. Особенно противно стало находиться у родителей после одного случая. Нина неловко повернулась и смахнула с кухонного стола банку со сметаной. Когда Зануда увидел это, с ним случилась истерика. Он называл жену ужасными словами, изо рта у него летели слюни. Он совершенно забыл в эту минуту, что основным кормильцем семьи была она, а его зарплата была на четверть ниже. Услышав эту брань, Танька вся съёжилась, отказалась ночевать и уехала к бабушке.

Нина легко соглашалась с тем, что Танька практически не жила дома. Она жила разумом, а разум подсказывал ей, что гробить свою молодость ради одной совершённой в молодости ошибки нет смысла. Надо жить для себя и только для себя. Бердичевский отлично подходил для роли верного пажа, который хоть и взбрыкивал, но очень редко и с лёгкой душой снова шёл в стойло. Танькина любовь к матери годам к десяти совершенно испарилась. Зануда в школьные дела падчерицы не вникал, общался с ней исключительно по делу, а Нина пропадала на работе, у неё была насыщенная трудовая жизнь. Танька зачастила к Зине, где рос Серёжа. Она с удовольствием возилась с ним, радовалась его новым словам, помогала по хозяйству. Её тётя была превосходной подругой, тёплым человеком, которому можно было рассказать все свои переживания. Зина не была чистюлей, наводить порядок в квартире не то, чтобы не любила, она просто не замечала беспорядка. Приходя с работы, она что-нибудь готовила на скорую руку для мужа, а Серёже мазала *французскую* булку за семь копеек маслом и варила какао. Потом она брала очередной том Чехова или Куприна и ложилась под торшер читать. Танька, когда приходила, получала такую же булку с маслом и какао и пристраивалась со своей книжкой рядом.

Уже в двенадцать лет она решила для себя, что выйдет замуж, нарожает детей и посвятит им свою жизнь, чтобы они выросли умными и талантливыми. Девчонки в школе шушукались по углам, рассказывая мамкины и папкины секреты, но Танька в этих нескромных разговорах не участвовала. Она жила в большом дворе у бабки, а там было много детей из неблагополучных семей, которые во весь голос орали непристойности, так что школу передового опыта можно было закончить с отличием, не особенно напрягаясь.

Однажды в понедельник Танька явилась к Зине с опухшим от слёз лицом и севшим голосом. На тревожный вопрос, что случилось, Танька сказала, что никогда больше в квартиру Зануды не вернётся. Оказывается, Зануда, который вообще не интересовался падчерицей, вдруг в воскресенье, увидев, что Танька собралась с ребятами на каток, vykнул жене:

— Таня на каток не пойдёт. Уже поздно, а возвращаться она будет в десять вечера, не раньше.

Тут Нина, для которой Танины дела тоже были до лампочки, подтвердила решение мужа:

— Действительно, нечего по ночам шляться одной. Опасно. Сиди дома и делай уроки.

От неожиданной обиды, вызванной нелепым запретом, Танька начала рыдать, как тогда в детстве, когда её выперли в бабушкину комнату.

— Я к ним не вернусь никогда, — сказала Танька, и губы у неё задрожали. — Сколько я потеряла с ними прекрасных выходных дней! Главное, что я им совершенно не нужна...

Зина сочувствовала племяннице, но понимала, что повлиять на Нину было совершенно невозможно.

— Знаешь, я на твоей стороне, и Боря, думаю, тоже, но не торопись, а то получится большой скандал, и ты зря испортишь себе нервы. Ты старайся потихоньку, незаметно бывать у них всё меньше и меньше и всегда приводи важную причину, например, надо готовиться к выступлению или сдаче контрольной по музыкальному диктанту. И бабушке ничего не говори, потому что она нашумит, накричит и только разозлит маму.

— Тебе легко говорить...

— Конечно, говорить легче, но у меня больше жизненного опыта. Слыхала? — Капля камень точит...

— Какая всё-таки твоя бабушка умница, — сказала Зина Таньке однажды вечером. — Настояла-таки, чтобы тебя отдали в музыкальную школу. Вот, вырастешь — станешь музыкантом, будешь в оркестре играть или детей музыке учить. Не то, что мы с сестрой — ходим каждый день на работу и одно и то же, одно и то же. Ни себе радости, ни другим. Особенно у неё — чертежи, синьки, бумаги, справки, письма... Серёжа подрастёт — обязательно отдам его в твою школу, пусть станет скрипачом. Потом, через двадцать лет будете вместе играть. Это дуэтом, кажется, называется?

Так оно и получилось бы в общем через двадцать лет, но у жизни свои пути, а за двадцать лет сменяются поколения и чего только не происходит! Правда, Серёжа действительно стал скрипачом, но не солистом. Играл в оркестре. Где-то лет в шесть сын стал слегка заикаться. Зина сказала мужу, что так, мол, и так... Борис прямо вскипел:

— Сергей Тверской — и заика?! Пойди с ним к врачам, пусть они дадут лекарства Серёжке.

Врачебный натиск был столь силен, что Серёжа немного повредился в уме от предписанных лекарств. Заикаться он не перестал, но поведение его стало немного странным. Он стал лет в двадцать очень подозрительным и всё опасался, что сочинённые им пьески кто-нибудь исполнит и выдаст за свои. Поэтому исписанные нотными знаками листки всю жизнь хранил в ящике с замком, ключ от которого носил всегда под рубашкой.

А Танька через двадцать лет уже жила в Ленинграде, преподавала в музыкальной школе, подрабатывала, растила сына и нянчила дочку, которую тоже мечтала сделать пианисткой.

Прошёл ещё десяток лет. Евреев стали выпускать на историческую родину, и Нина с мужем тихо выскользнули из

СССР. Бабка с дедом остались доживать в том самом Харьковском доме, откуда уже все птенцы выпорхнули. Потом дом их снесли и дали им двухкомнатную квартиру, и со всеми удобствами. Бог дал им долгую жизнь. Борис знал о готовящихся переменах, и вовремя прописал Серёжу к бабушке с дедушкой. Он планировал захват территории, как Наполеон планировал битву при Аустерлице.

Дело было в том, что бабушка очень любила маленьких, если вы помните, а у Таньки как раз рос трехлетний Витька. Оставляя без колебаний деда, который всю жизнь у неё варил борщи и жарил котлеты, бабушка стала часто навещать в Питер, дабы наиграться впрок с внуком. А родителям, вроде бы, как раз того и надо было. Потом Господь-бог наш призвал деда, и бабушка стала проживать у Тани по нескольку недель. Тут Таня возьми и скажи мужу:

— Зачем бабуле к нам таскаться? Путь неблизкий. Пусть она у нас живёт. Давай я ей предложу.

Бабушка легко согласилась и предупредила лишь, что должна поставить в известность Зину с мужем.

Услышав о Танином предложении, Борис впал в ярость, но сдержался и стал методично обрабатывать тещу. Зина при этом должна была молчать и только кивать. Муж подозревал интригу со стороны Таньки — попытку овладеть бабкиной квартирой, хотя у Тани и её мужа ни малейшей мысли по этому поводу не было. Под давлением Бориса бабушка экстренно съехала с Тверскими в большую трехкомнатную квартиру, где ей была предоставлена большая спальня. Когда бабушка сказала, что, мол, лучше бы отдать спальню внукам, а ей комнату поменьше, Борис категорически возразил, что внуки ещё поживут на просторе, а сейчас пусть потерпят. Да и нечего им дома делать. Им учиться надо, потом начинать работать, делать карьеру. Вот он, Борис — дорос до должности начальника отдела!

Бабушка через несколько лет присоединилась к большинству, как говорят англичане, и после похорон Борис наставительно-торжественно сказал Зине за ужином:

— Вот, жена моя, я и выполнил свой долг перед тобой и детьми (кроме Серёжи, Зина родила ещё и дочку, которую назвали Ксюшей). Я сделал большую и удобную квартиру. Это наше богатство, которое мы должны беречь, это ещё и наш капитал, потому что мы её приватизировали.

Зина в ответ кротко улыбнулась и погладила мужа по затылку. Предстоящая жизнь рисовалась ей длинной-длинной и гладкой дорогой, по которой она с мужем пройдёт в тихой радости.

Действительно, Серёжа закончил школу, потом музыкальное отделение института культуры, работал в оркестре. Дочка тоже закончила школу, но к музыке питала отвращение и стала экономистом. Серёжа женился и ушёл жить к жене, подарил Зине внука. Тут жить бы и жить... так нет, судьба коварна. Решил Борис купить машину, хотя никакого капитала они не накопили. Поехал на автобусе к родной сестре в деревню, которая давно стала ближним пригородом и поставил условие — так как я у вас не живу, а право на дом и участок имею — гони сестра денежку и владей родительским наследством одна! Сестрица, зная вьедливый характер Бориса, понимала, что он если вцепится, то челюстей не разожмёт. Пришлось отдать все деньги, которые накопила (договорились на двух с половиной тысячах). Зина чувствовала неудобство — как никак, пока дети росли, летом в каникулы селились в дедовском доме, если свежую зелень с грядки, потом приходила очередь роскошного «белого налива», ни у кого такого не было. Да и машина была не очень-то нужна. Но Борис сказал — куплю поддержанный *Жигуль* и поедем мы с тобой в Крым. Так оно и получилось бы, да вдруг стала у него слабость левая рука, потом правая. Пошли по докторам. И оказалось, что заболел Борис рассеянным склерозом, и не знает современная медицина, как его лечить. Через полтора года Зина уже водила мужа за руку, как маленького, а спустя ещё полгода он уже и не поднимался. Так и ушёл, словно растаявший снеговик.

Зина потом вспоминала, что дочка нанесла страшный удар отцу, который так гордился своей фамилией и русскими

корнями — вышла замуж за еврея, то есть напрочь испортила родословную. Борис, узнав о браке, произнёс тяжёлые слова:

— Всё. Больше у меня нет дочери. Пусть уходит к своему Абраму.

Дочка в тот же вечер собрала чемодан и ушла. Вскоре она позвонила Зине и сообщила, что они подали документы на выезд в Израиль. Зина очень надеялась, что сестра со своим Занудой помогут молодым освоиться на первых порах, но Зануда, помня об издевательском отношении Бориса, убедил жену, что не надо мешать молодым. Пусть, мол, сами найдут место в жизни, чтобы потом, если не всё получится ладно, не обвиняли их в неправильных советах.

Вот и осталась Зина одна в большой трехкомнатной квартире. Дочка звонила раз в полгода, не интересовалась, не спрашивала, как маме одной живётся, через месяц-другой получала Зина продовольственные посылки с растительным маслом, макаронами, консервы с индейкой. В посылках ни строчки, ни одного ласкового слова. Серёжа тоже почти не появлялся, раз в месяц забегал внук, сидел, вертелся на стуле, пил чай с вареньем, потом просил пятьсот рублей (деньги стали, как газетная бумага, дешёвыми) и исчезал до новой подачи. Потом Серёжа развёлся и переехал обратно к Зине. Так грустное событие принесло ей неожиданную радость. Уж так она его холила, так трепетно относилась к его занятиям, когда он закрывал дверь своей комнаты и репетировал партию второй скрипки. Второй — это же почти первой! Всего один шаг — и ты первая скрипка оркестра. Все музыканты тебе завидуют...

Зина не раз напоминала Серёже, что внука надо прописать к ней. Но ведь надо выписаться с той квартиры, где он живёт... А кто этим станет заниматься? Невестка Зину и на порог не пустит, а внуку, как говорят музыканты, всё по барабану. А ведь трехкомнатная квартира в центре Харькова — это ж огромное богатство! Зина ощущала себя хранителем этого богатства, она часто разговаривала с мужем во сне

и обещала положить остаток жизни на то, чтобы квартира досталась внуку. Вот только надо, чтобы он остепенился, женился и народил детей... Наконец, Зина решилась и позволила невестке, но та, даже не ответив на «здравствуй», спросила так грубо, как на рынке:

— Чего надо?

Зина заикнулась было насчёт своей квартиры, но невестка бросила с надменностью:

— У моего сына всё есть, и мы в ваших подарках не нуждаемся, так и скажите вашему придурковатому Сергею!

— Почему она так назвала Серёжу? — не обиделась, а скорее, удивилась Зина. — Ну, не сошлись характерами, как это выяснилось через двенадцать лет. И чем Серёжа плох, скажите на милость? Не пьёт, не курит, читает книги, репетирует на скрипке, даже сочиняет музыку! Как-то за ужином сказал, что у него есть изобретения, которые он собирается оформить, но не знает, как это сделать. Он боится кому-либо о них рассказать, потому что есть такие проходимцы, что украдут, а потом ничего и никому не докажешь...

Прошло ещё лет пять, не менее. У Серёжи появилась женщина. Ничего особенного. Зовут Раисой Петровной. Работает старшей медсестрой в Центральной больнице. Семьи нет, с мужем разошлась давно, живёт в коммуналке. Сначала приходила пару раз в неделю, а потом зачастила, стали вместе ужинать по-семейному, завтракала с Зиной и убегала на работу, а Серёжа отсыпался после концертов. Разговоров общих почти не было, потому что интересов общих тоже не было. То, что Раиса временами рассказывала, касалось несправедливостей, которые она вынуждена терпеть от заведующей отделением и её прихлебателей. А что могла рассказать Зина? — Вот перечитала «Степь» Антона Павловича Чехова и вновь поразились его пронзительному таланту. Смотрела телевизор — что-то назревает в Украине неладное, все ругают друг друга. Говорят о немыслимом воровстве чиновников и коррупции, а власть совсем не чешется. Как бы не кончилось новой Октябрьской революцией...

Видно, Серёжа устал от Раисы, так что в один прекрасный день она перестала у них бывать, а ведь прожили вместе года два не менее. Ну и ладно. Так спокойнее и вообще лучше. Раиса была какая-то недоброжелательная, однообразно-скучная.

Получила письмо от сестры. Муж её заболел раком, вся надежда на замечательную израильскую медицину, лучшую в мире. Так говорили соседки по дому. Зина написала дочке, чтобы та помогла Нине, всё-таки родня... А дочка через месяц прислала злющее письмо, что никакого родства она по отношению к Зануде не чувствует, и к Нине тоже. У каждого своя жизнь и, значит, у каждого своя смерть.

Серёжа всё намекал Зине о своих изобретениях. Наконец, она не выдержала и посоветовала:

— Позвони Тане в Петербург, у неё муж, говорят, очень толковый инженер, работает на частной фирме... Серёжа замялся:

— А вдруг он поймёт, что мои изобретения стоят миллионы долларов и украдёт их?..

— Ну, давай я сама позвоню и поговорю с Таней. И вообще странные вы все — ведь вы двоюродные брат и сестра, а никогда друг другу не позвоните, не напишете. Вот. Пригласил бы Таню в гости, заодно и поговорили бы...

Замолчала и подумала:

— Что я ему советую, когда родная дочь из Израиля звонит раз в полгода, да посылку присылает в еврейский новый год?

Месяца через два Серёжа опять сошёлся с Раисой, но так к Зине ни ногой. Уж чем Зина ей так насолила? Никогда не вмешивалась в личную жизнь сына. В общем, Серёжа стал иногда по несколько дней пропадать у неё. Опять Зина осталась одна, как верный страж трехкомнатного богатства. Тут Таня позвонила и сказала, что они через неделю улетают в Нью-Йорк. Навсегда. Надоела эта бесконечная борьба за существование, да и прогнозы на будущее очень плохие, а ей о детях думать надо.

— А мы с Серёжей как раз собирались тебя в гости пригласить...

— Раньше надо было, Зина. Теперь уж некогда. Делаем последние закупки. Прилетим — я тебе позвоню. Если что надо — пришлю. В Америке всё есть и никогда не кончается.

Улетели.

Нина позвонила. Схоронила своего Бердичевского. Поплакала в трубку:

— Вот мы, сестра, стали обе вдовами, а как далеко нас жизнь разбросала. Никогда представить себе не могла бы, что на старости лет буду сидеть одна-одинёшенька в какой-то богом забытой Петах-Тикве...

— Нина, каждый выбирает по себе, как пелось в наши студенческие года, помнишь? — *Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу...* Зато у тебя всегда тепло, синее небо над головой, а у нас дожди, мокрый снег... —

— А я это бесконечно синее небо уже ненавижу. И это палящее солнце. Вот, евреи такие мудрые, а выбрали для жителя страну с таким тяжёлым климатом, да ещё рядом с этими сумасшедшими арабами, которые работать не хотят, а хотят всех нас уничтожить.

— А ты с моими встречаешься?

— Нужна я им! За пять лет был один звонок. Вот, собираюсь просить Таньку, чтобы вытащила меня к себе в Америку. А ты приехала бы ко мне погостить, я тебе деньги на дорогу вышлю...

— Придумала тоже! На кого я квартиру оставляю? Серёжа мой такой непрактичный. Тут у него баба завелась, такая стерва... Да и старая я путешествовать, а Израиль мне никогда не нравился. Так что уж лучше ты ко мне прилетай. Места много.

Серёжа в последнее время совершенно ушёл в себя. Зина тревожилась, и время от времени за ужином спрашивала сына, всё ли у него в порядке. После вопроса он словно возвращался из сна, или из мысленного путешествия, глядел на

неё и бесцветным голосом отвечал, что всё в порядке, всё хорошо.

— Может быть, заболел неизвестной болезнью... — думала Зина.

Перед глазами стояли ужасные картины стремительно слабеющего умом и силой мужа, а ведь каким сильным и энергичным мужиком был!

Серёжей вдруг овладела навязчивая идея связаться с Таней и переслать ей свои сочинения и изобретения. Всё-таки в США никто их не украдёт, там люди более честные, да и текст, написанный по-русски, не каждый поймёт... Он действительно позвонил в Нью-Йорк, хотя разговор стоил дорого, и спросил, как получить патенты на свои изобретения. Танька дала трубку своему мужу, дельному инженеру, но человеку резкому и решительному. Тот попросту сказал Серёже, что надо пойти в патентную библиотеку и там посмотреть, как оформляются заявки, потом чётко сформулировать суть своих изобретений, провести поиск аналогов и так далее, и так далее. Серёжа молча выслушал наставления знающего человека и положил трубку. Прошло не менее трёх месяцев, и он снова позвонил Тане, и теперь заговорил о желании послать свои сочинения. А вдруг, мол, кто-нибудь возьмётся их издать...

— Да я думала, что ты уже давно выслал, — сказала Таня. — Всё жду и жду твоей посылки.

Между тем Нина в Израиле стала чувствовать себя всё хуже и хуже. Звонила в отчаянье дочке, что никогда не могла представить, что будет умирать в полном одиночестве, плакала. Таня не выдержала и, несмотря на недостаток денег, поехала повидаться с матерью и пробыла с нею две мучительных недели. Мать всё время возвращалась в прошлое, кляла себя, что так мало внимания уделяла Тане, называла себя жуткой эгоисткой, и вот, мол, за это её бог и наказывает. Таня сопровождала её в недалёких прогулках вокруг дома, пыталась отвлечь. Давать советы она не умела, только сердце сжимала тоска. Обещала сделать всё возможное, чтобы

быстрее вытащить её к себе, но вполне понимала, что пробить американскую бюрократическую систему, в которой ни она, ни муж ни черта не смыслят, не удастся. Забегая вперёд, скажем, что так оно и случилось. Разрешение на въезд власти США прислали Тане, когда Нина уже пять лет лежала в могиле. На прощанье мать буквально силой всунула Таньке две тысячи долларов, приговаривая, что ей деньги уже не помогут, а в случае её смерти соседи или медсёстры, которые её навещают, их украдут.

Телефонный звонок поднял Таню в три часа ночи. Неизвестная женщина, назвавшаяся Тамарой, позвонила, что Нину, ввиду ухудшения её общего состояния и глубокой депрессии, перевели в дом престарелых, но на самом деле кому-то понадобилась её квартира. Тамара пришла, когда все шкафы и ящики были уже совершенно пустыми, а Нина говорила ей, что в квартире оставались ещё ценные вещи, которые она в спешке просто не успела взять с собой. Позвонить из этого дома в Америку крайне сложно, поэтому Тамара звонит из своего дома и передаёт просьбу Нины к Тане связаться с ней. Татьяна пошла на кухню, выпила крепкого кофе и позвонила тётке Зине в Харьков, благо там уже был полдень.

— Зина, привет, — сказала она, словно они расстались вчера, и рассказала про Нину. — Нельзя ли попросить Ксюшу навестить маму или хотя бы поговорить с ней?

— Я попробую, — ответила тётя Зина.

Целую неделю она никак не могла дозвониться до Ксюши, а когда поймала её, уже несущуюся по своим делам, та довольно неприятным голосом спросила:

— А с какой стати я должна о ней заботиться?

— Так она же твоя родная тётя! — растерянно ответила тётя Зина.

— Тебе она родная сестра, а мне она никто, и я её знать не желаю! — резко бросила Ксюша. — Скоро пришлю тебе продуктовую посылку. Что вы там никак сами себя прокормить не можете. Работать надо, а не воровать! Это я не тебе, а твоей сраной украинской власти говорю!

Зине было ужасно неудобно звонить Тане с отказом, даже если бы Ксюша была вежливой, так что она всё тянула и тянула со звонком в Нью-Йорк, пока Таня сама не застала её, как раз в тот момент, когда Серёжа приехал к ней на неделю и они сидели за завтраком.

— Ты знаешь, Таня, Ксения сказала, что она так занята, что у неё совершенно нет времени, а поздно вечером она просто падает от усталости... А вот, Серёжа здесь сидит, хочешь с ним поговорить? Ну, пока, даю трубку твоему брату...

Таня была не в настроении говорить с Серёжей, да и о чём она могла его спросить? Почему он до сих пор не прислал свою музыку? Не прислал и не прислал. Его дело. Да и вообще — жизнь развела их так далеко, что никаких родственных чувств не осталось, да и были ли они? Помнился какой-то застенчивый мальчик на семь лет моложе её, играл на скрипке, немного заикался, когда-то вместе сидели за столом, что-то праздновали. Бабушка ещё была жива, командовала всеми. Спустя минуту, Татьяна положила трубку.

Спустя полгода Нину похоронили за государственный счёт. Тамара опять позвонила в три часа ночи, уговаривала приехать и забрать вещи матери. Денег при ней не нашли никаких, даже мелочи.

— Всё выгребли! — с жаром закончила Тамара.

Татьяна поблагодарила её и сказала, что сейчас она никак прилететь не может по семейным обстоятельствам, наверное, позже навестит могилу. Тёте Зине она звонить не стала — чего огорчать старого человека, напоминать о близкой смерти!

Бывает особый сорт несчастий, когда они сваливаются неожиданно и по неизвестной причине. Они доставляют особую боль, и человек с тоской смотрит в небеса в поисках Бога всемогущего и вопрошает:

— Господи! За что ты меня караешь?!

Так случилось и с тётей Зиной. Пришёл Серёжа с работы. Сидели, немного разговаривали, смотрели новости. Вдруг Серёжа стал морщиться, кряхтеть. Зина спросила:

— Что с тобой?

Он ответил что-то вроде:

— Сердце колотится.

— Давай вызовем неотложку?

— Подождём, может успокоится.

Однако неприятные ощущения всё усиливались и усиливались. Зина сама никогда никакими серьёзными болезнями не болела. Потому в домашней аптечке ничего, кроме марганцовки и нашатырного спирта не держала. К тому времени, когда приехали врачи, Серёжа еле дышал. Сделали ЭКГ и тут же обнаружили инфаркт. Быстренько потащили его в больницу, но живым уже не довели.

После похорон сына тётя Зина словно окаменела. До неё никак не доходил смысл происшедших событий. Как на заезженной пластинке вертелась одна и та же мысль — кому же передать по наследству квартиру, кому же передать по наследству квартиру. Иногда возникала другая мысль — это Раиса, подкодная змея, отравила его, подсыпала яд. Чем далее, тем более она укреплялась в этой версии. И позвонив Тане через пару недель, она без колебаний сказала:

— Я уверена, что Серёжу убила одна гадина — Раиса, которая подсыпала ему яд.

Раиса после похорон своего друга-сожителя позвонила тётю Зине и сказала, что хотя они с Серёжей не были расписаны, но фактически были мужем и женой, так что им обеим надо пойти и прописать её в квартире.

— У меня есть внук, и я не собираюсь отдавать свою квартиру случайной знакомой своего сына! — выкрикнула тётя Зина. — Это ты его отравила, ты, я знаю!

— Ну, это вам ещё надо доказать, — холодно усмехнулась Раиса и повесила трубку.

Вскоре Гадина-Раиса начала планомерную осаду тётю Зины. Она нашла адвоката, который раскопал в законодательстве пункт, согласно которому при наличии свидетелей совместной жизни партнёров даже при неоформленном браке после смерти одного из партнёров признаётся право

оставшегося партнёра на имущество, как наследника (наследницы).

Тётя Зина, узнав о готовящемся вызове в суд, сразу позвонила Тане и слёзно попросила у неё денег, поскольку ей предстоят судебные издержки. Татьяна тут же послала ей пять сотен долларов и попросила близкую харьковскую подругу помочь одинокой старой женщине хотя бы морально и сходить с нею вместе к адвокату.

— Почему, Зина, ты не обратишься к внуку, — ведь он уже совершеннолетний, ты должна его срочно прописать на своей площади!

— Я ему звонила и просила приехать, но у него ветер в голове. Ничего ему не нужно, он вообще собирается уехать в Германию со своим ансамблем, потом выступать по всему миру. Он считает себя гениальным гитаристом... А эта гадина вполне может выиграть процесс и поселится в моей квартире, и конечно, вскоре отравит и меня, как она отравила Серёжу, — Зина заплакала.

— Но почему ты не позвонишь Ксюше? Она ведь взрослый человек. Она-то должна понимать, что трехкомнатная квартира — это большая ценность...

— Да я ей звонила! Она мне сказала, что скорее поехала бы жить в Монголию, чем в Харьков, что у нас тут бандиты и идёт война... Пропадает наша квартира, которую Боря завещал беречь, — Зина снова заплакала.

Гадина действительно подала в суд и выиграла процесс, но Зинин адвокат подал апелляцию в высшую инстанцию, решение было отложено на полгода. Когда Татьяна позвонила тётке месяца через три, та была в приподнятом боевом настроении и сказала:

— Ничего! Мы ещё поборемся!..

Татьяна в тот момент подумала:

— Какая воля к борьбе в её девяносто лет!

## Беда приключилась

— **У НАС БЕДА ПРИКЛЮЧИЛАСЬ СТРАШНАЯ,** — с истерической ноткой в голосе сказала Мальвина. Она была мне неприятна своей болтливостью. О многих жителях нашей комьюнити знала массу тайн и с радостью их вываливала на частых застольях. Её подруга, жившая в одном с ней субсидальном доме, при этом говорила с усмешкой, что у Мальвины вода не держится. Однако на сей раз действительно случилось нечто совершенно немыслимое: один старик по имени Миша убил другого старика по имени Ньюма (Наум), и я хорошо знал их обоих.

Ну, во-первых, на нас — евреев-беженцев из СССР это совершенно непохоже. Во-вторых, такое сильное проявление эмоций в столь преклонном возрасте вызвало смех у большинства окружающих. Многие объясняли этот поступок старческим маразмом, но я-то знал о копившейся в сердце Миши ненависти к своему давнему знакомому.

Встретились они на курсах английского языка, устроенных местным отделением *Джуйки*. Тогда филиал этой организации здорово помог недавно приехавшим прижиться в маленьком городке П., пригороде Бостона. В тот год был рекордный наплыв беженцев, потому что власти США, выдавшие разрешение на въезд несчастным евреям, обнаружили через пяток лет, что бедные преследуемые евреи вовсе не торопятся покинуть свою родину-мачеху. Тогда власти издали циркуляр, доводящий до сведения будущих беженцев, что они должны в течение полугода покинуть страну пребывания и приехать в США. В противном случае разрешение на въезд будет аннулировано. И вот, они стали прибывать набитыми битком самолётами в Нью-Йорк и распределяться

в основном по штатам Восточного побережья. Большинство из них совершенно не владело английским разговорным языком и поэтому большие усилия были приложены *Джуйкой* для организации повсеместно языковых групп, в том числе и в П.

В той группе, где познакомились Миша и Ньюма, собрались сплошь врачи и инженеры, учителя и научные работники. Миша пришёл с женой, а Ньюмина жена учиться отказалась и сказала, что это бездарная трата времени, потому что все они старые и говорить на чужом языке всё равно не научатся. Эти слова Ньюма передал Мише.

— Слушайте, Ньюма, (они так и остались навеки на «*вы*»), — сказал Миша, — если не тратить время на что-нибудь достойное, то можно быстро сойти с ума от безделья!

И он был прав. Через два года жена Ньюмы была официально признана ненормальной, но по американским законам не была помещена в дом скорби в силу своей безвредности. Ела и пила она с удовольствием, но время от времени объявляла, что у неё нет рта и очень по этому поводу сокрушалась.

Мужчин в той языковой группе было совсем немного, а женщины все, как на подбор, были старыми, неопрятными, безвкусно одетыми и некрасивыми. Поэтому *кадрить* было просто некого. Английский разговорный престарелые ученики не понимали совершенно, и их наставница-американка была в отчаянии, хотя мило им улыбалась все три часа занятий. Ньюма к тому же ещё был и глуховат. Миша с женой, когда-то окончившей курсы РОНО, несколько выделялись среди этой массы и с нетерпением ждали, когда дойдёт до них очередь открыть рот, но основное время уходило на исправление произношения отстающих.

Как-то само собой получилось, что Ньюма прибился к Мише и часто провожал его, благо сам жил по соседству. Ему, думается, было тошно сидеть весь день перед телевизором с инертной, как лягушка, женой и он оттягивал, сколько мог, возвращение домой. Узнав, что Миша был доцентом на кафедре химии, Ньюма преисполнился уважения и всем

говорил, что у него есть тут знакомый, который *работал* в Москве доцентом. Так его и стали почти все называть — Миша-Доцент, потому что в комьюнити оказалось около десяти Миш, Михайлов и Мойш.

Сам Ньюма всю жизнь трудился в институте связи в городе Горьком и прошёл путь от рядового инженера до заместителя начальника отдела. О своей работе ничего интересного он сообщить не мог, потому что большей частью вёл бумажные дела, отправлял письма типа «*На ваш № УХ-987 сообщаем, что...*» и иногда ездил в командировки. У него было массивное, представительное мужское лицо с коротко подстриженными усами, густыми бровями и несколько тяжеловатым воловьим взглядом. Да и сам он был массивным мужиком с широкой спиной и мощными руками. Такие нравятся женщинам. У него в России осталась одна такая, русская по национальности (как тогда выражались), которая дарила его спокойной и ненавязчивой любовью, ничего не требуя взамен. Приехав однажды в Новгород уже в качестве гостя-туриста, он, разумеется, зашёл к ней и обнаружил в квартире мужика.

— Быстро же ты меня позабыла, — сказал Ньюма, не сознавая, что его упрёк звучит совершенно по-идиотски.

— Возвращайся и я его прогоню, — ответила подруга по-женски просто.

А что он, беженец, мог ей ответить? Чтобы выехать с семьёй, он пожертвовал своей свободой, женившись вновь на своей бывшей жене, которую совершенно не любил. И вот теперь в Америке он тащил свой тяжкий семейный груз, ухаживая за старой, беспомощной женщиной, покупая продукты в ближайшем «*русском*» магазине, поедая борщи, которые готовила приходящая работница, и ставя ежедневные клизмы страдающей хроническими запорами жене.

— И чем мне её кормить, чтобы она ходила сама? — спрашивал Ньюма у Миши.

— Покупайте ей чернослив и слабительное. Вообще-то лучше спросите у врача, — отвечал тот.

Они оба одновременно поступили на курсы английского языка в местный колледж, только Миша на седьмой уровень а Ньюма на второй, так что общаться на языковые темы они не могли никак.

Мишины московские друзья-интеллектуалы разъехались кто куда, а здесь, в американской глубинке попробуй сыщи собеседника. Неожиданно они на совместной прогулке увидели роскошную бабенцию из латиноамериканок, и Ньюма выдал:

— Не женщина, малина, шедевр на полотне, Маруся-Магдалина раздетая вполне.

— Ба! Да он, оказывается, Архангельского знает, — изумился Миша. — А вы, Ньюма, что же, стихами увлекаетесь?

— Не только увлекаюсь, но и пишу, — с достоинством произнёс Ньюма. — Я в своё время сочинил гимн по случаю сорокалетия нашего института, так мне директор премию в сто рублей выдал. У меня штук сто стихов есть.

— Можно поглядеть?

— Они у меня в блокнотиках, не напечатаны, а так... от руки.

— Ну, принесите. Я могу их набрать на компьютере и потом распечатаю.

— А Ньюма-то у нас поэт! — воскликнул Миша, возвратившись домой с курсов.

Получив на руки Ньюмино творчество, он сел перед компьютером и пролистал блокнотики. Всё это никакого отношения к поэзии не имело, просто плохо зарифмованная белиберда. Одно лишь произведение напоминало стихи: *«Мой внучок Илюша, как не тосковать, Дедушке с тобою, видно, не гулять. Не ловить нам рыбу, Не гулять в лесу...»* Миша тут же узнал по ритму знаменитое воровское: *«Дедушка Калинин, в рот меня мотать. Отпусти на волю, брошу воровать»*.

— Вы знаете, Ньюма, ваши стихи нуждаются в доработке, — сказал он при встрече, протягивая отпечатанные листы.

— Я ничего менять не буду, — ответил после долгой паузы Ньюма с некоторой обидой. Мои стихи даже в Израиле напечатали в газете.

— Как же они на вас вышли?

— Я послал стихотворение в письме знакомому. Название *«Уезжают евреи в Германию»*. Я там писал: *«Как вы можете ехать в страну, в которой ваших братьев и сестёр сжигали в печах!»*

— А сами вы при том благополучно приземлились в Америке... Почему же вы не поехали в Израиль?

Ньюма долго молчал, а потом неохотно выдавил, что, мол, семья собралась в Америку, ну а он куда бы поехал один?

Между тем, на безрыбье и рак — рыба! Миша постепенно привык к Ньюме настолько, что не стеснялся задавать ему всяческие вопросы и даже интимные. Однажды он спросил его, приходилось ли ему драться, и Ньюма ответил просто и кратко:

— Я трус.

— Я бы так не смог открыто признаться, — подумал Миша. Есть в этом чистосердечии некая изюминка. Может, за это его русская баба и приняла...

Как раз в этот период времени подросло поколение эмигрантов из Латинской Америки и Чёрной Африки. Пацаны от десяти до семнадцати лет появились компаниями человек по восемь-десять возле мелких магазинчиков, парикмахерских, пиццерий и кафе. Они оживлённо болтали между собой, непрерывно жевали жвачку и сплёвывали её под ноги. Жвачка намертво прилеплялась к асфальту и образовывала узоры подобно звёздному небу. Как только подростки замечали одинокую еврейскую пожилую женщину или старика, направляющихся в магазин, они тут же подбежали и кланчили доллар. Окружённые толпой подростков, не понимающие английской речи старики, пугались и покорно вытаскивали доллар. Видя покорность и страх несчастных евреев,

подростки становились всё более агрессивными. Жертвы рассказывали с расширенными от страха глазами, что вот, недавно одного из престарелых жителей субсидального дома на *Chestnut Street* молодые люди, один чёрный и двое латинов избили до потери сознания прямо в подъезде.

Уехали от преследований черносотенцев в России и вот на тебе — попали из огня в полымя, а куда пойти с жалобой, где искать защиту, непонятно. Языка нет, так что и в полиции не помогут.

Надо сказать, что полицейские не особенно старались вникать в разборки, связанные с беженцами, да и связываться с чёрными и латинами им тоже было, как говорится, *в лом*. Местные либералы тут же начинали вонять, что в Америке возрождается расизм. Однажды после полудня Ньюма с Мишей пошли прогуляться по той злосчастной Каштановой улице, и вскоре к ним пристала группа подростков, возглавляемая одним из чёрных лет пятнадцати и весом килограммов на восемьдесят, не менее. Нет, они не старались повалить стариков на землю, чтобы потом отдубасить ногами. Они стали бегать вокруг них, якобы играя в догонялки, но не давая спутникам сделать и шагу. Миша сознавал, что треснуть кулаком или ногой даже того чёрного борова нельзя, привлекут к суду. Оставалось только орать на всю улицу *Police, Police*. Ньюма стоял рядом и мелко дрожал. Наконец, подросткам надоело бегать кругом и они дали возможность спутникам продолжать прогулку. Правда, Ньюма на прощанье получил хороший пинок по заднице, о чём он с мазохистским удовольствием потом поведал спутнику.

Миша никогда не думал, что Ньюма станет его верным другом на всю оставшуюся жизнь, как поётся в одной песенке. Они с разницей в год получили на руки свидетельства о том, что страдают тяжёлой депрессией, в чём им помог местный психоневролог, никогда не унывающий любитель искусства с вечной доброжелательной улыбкой на устах. Потом они оба, хотя и порознь составили кипы бумаг на своих

дражайших половин, причём Ньюма на русском, а Миша на английском. К этому времени власти в Америке уже поняли, что малость погорячились, пригласив на постоянное место жительства сплошь ненормальных пожилых евреев, которые совершенно не приспособлены ни к какой работе. Ньюмина жена, правда, не вызывала у врачей сомнений в социальной непригодности, а Мишиной жене пришлось-таки побегать по комиссиям, доказывая свою ненормальность.

Занятия английским языком были альфой и омегой общественной жизни приехавших. Они прилежно посещали все занятия в колледже, стараясь попасть ещё и на любые другие курсы. В перерывах они жарко общались по всем вопросам жизни, в смысле — что, где, когда, почём и если при этом ещё и фри (free), то это была истинная радость сердца.

Ньюма изрядную часть домашнего времени проводил в бесполезных усилиях освоить хотя бы азы и пополнить словарь. Жена его весь день проводила лёжа на левом боку, носом к стенке и молчала. Когда Ньюма вставал из-за стола с намерением пройтись, его тут же встречал вопрос «*ты куда?*» Он обычно отвечал: «В магазин к Моне», после чего он звонил из уличного автомата Мише, не желает ли тот пройтись к океану. Миша тоже непрерывно работал над языком, уже довольно свободно читая ежедневную местную газету и фантастику, прослушивая километры магнитофонных записей. Всё было напрасно. Устная речь не давалась. Он даже пристроился к группе молодых людей из Центральной Америки в организации «*Bootstrap*», что означало тесёмки, которые помогают надеть ботинки или сапоги, и с завистью слушал, как лихо они болтают с преподавателем и без конца смеются. Они всё-всё понимали и, наверное, поэтому счастливо смеялись. Миша брал реванш на письменных контрольных, потому что эти ребята с трудом читали тексты и с логикой мышления у них тоже было не ахти как.

Обязательным развлечением у Ньюмы с Мишей стало субботнее посещение блошиного рынка. Американские евреи, приглашая в США советских евреев, надеялись, что они

теперь совместно будут посещать синагоги и с жаром осваивать основы еврейской религиозной жизни. Не тут-то было! Единственное, на что хватило немногих из эмигрантской волны — это зажигать свечи в пятницу вечером. Остальные вообще не интересовались еврейской жизнью, не зная ни идиша, ни иврита, ни английского.

Однако на блошинный рынок ходили, как на службу. Миша страшно удивлялся, глядя, как Ньюма беззастенчиво крадёт с прилавков всякие вещицы. Мне он говорил неоднократно:

— Ведь он сам себя назвал трусом! Как же он не боится, что его отметелят, если заметят, что он у них ворует?

Пройдя рынок, приятели направлялись в стоящий рядом огромный универмаг под названием «Билдинг 19». Там Ньюма отличился и не раз, как мастер краж. Однажды магазин вывалил в большой контейнер массу прекрасных кожаных перчаток по шесть долларов за пару. Ньюма не спеша их примерил, натянул поплотнее и как ни в чём не бывало пошёл через кассу на выход. Миша на всякий случай отстал и наблюдал за проходившим издали. Ему и в голову не могло прийти читать Ньюме мораль. Если человек в 67 лет способен на такие поступки, значит он никогда не ощущал разницы между честностью и бесчестьем, но может быть, он просто болен умственным расстройством. Ведь больных на голову не судят...

Америка, конечно, в известной степени провоцировала вещизм как таковой, поскольку вполне приличные и даже новые товары буквально валялись под ногами на помойках, в трэш-румах, у входов в магазины армии спасения. Церковные дворы были завалены продуктами. Наши беженцы занимали очередь за бесплатной едой за два часа до открытия и волокли тяжеленные тележки с крупами, консервами, сухофруктами, хлебом, тортами, куриными ножками и ещё бог весть чем. Синагоги в этом плане были куда прижимистей, поили прихожан самой дрянной водкой по субботам и праздникам и в качестве закуски предлагали солёные, словно вымоченные в водах Мёртвого моря, печеньица

в виде кручёной колючей проволоки, правда, без железных колючек.

Миша досадовал на себя, что валандается с Ньюмой, от которого веяло бесконечной скукой, но никого поблизости не было, а тот таскался за ним повсюду, даже в местный выставочный зал, где к концу года проводились ярмарки с распродажей работ местных умельцев. Миша выставлял там свои фотоработы и порой кто-то покупал их по двадцатке.

Однажды, оказавшись в выставочном зале, Ньюма тотчас заметил лежащий в углублении декоративного каминна складной зонтик, который он тут же присвоил. Дежурный по залу Мэтью вовремя увидел хищение своей собственности и поднял крик. Ньюма был вынужден вернуть чужую собственность, а Миша в течение всего визита чувствовал неловкость перед Мэтью, поскольку был уже давно с ним знаком.

У Ньюмы руки явно росли не из того места и было удивительно, как он в условиях России мог быть владельцем «Жигулей». Когда Миша спросил его о специальности, Ньюма ответил, что он работал заместителем начальника отдела, из чего стало понятно, что руками тот ничего делать не умеет. Ньюма даже бравировал своей беспомощностью. Так однажды в пути его машина «Субару» внезапно встала, и Ньюма ничего не придумал лучше, как сесть на обочину и заплакать. Подошедший полицейский вызвал ААА, который и доставил машину с незадачливым водителем домой. О том, что он заплакал, Ньюма сообщил Мише с особенным мазохистским удовольствием.

Конечно же, мы все несём ответственность за тех, кого приручаем. Экзюпери не открыл нам ничего нового. Миша без энтузиазма ходил с Ньюмой по его делам, исполняя роль переводчика, хотя мы уже знаем, что переводчик из него получался никакой. Он как-то рассказал мне, что пошёл с Ньюмой в магазин медицинского оборудования вернуть бесплатный

слуховой аппарат. Когда Ньюма протягивал продавцу это изделие, Миша постарался сказать фразу, что аппарат не работает. Продавец, пожилой, но стройный и загорелый мужчина внимательно осмотрел изделие, взял зубочистку и с её помощью вытащил из аппарата изрядный кусок ушной серы.

— Уши надо мыть чаще! — спокойно ответил он Мише. Тот был готов провалиться со стыда сквозь землю.

Если жена Ньюмы сутками лежала носом к стенке, подымаясь только в туалет и поесть приготовленный приходящей работницей обед, то жена Миши, напротив, была суперактивна. Она могла говорить сутками на любую тему и когда муж спасался бегством на океан, она оседлывала телефон, и когда он возвращался, то почти всегда заставлял её общавшейся с роднёй или с новой подружкой. Подруги у неё менялись часто, потому что любая женщина любит поговорить о себе сама, а бесконечно слушать чужую болтовню способна далеко не всякая.

Ещё она бесконечно готовила невероятно жирный плов и густой борщ на мясном бульоне и всё время чистила квартиру, а Миша должен был постоянно помогать, скакать по подоконникам, чтобы развесить занавески, мыть окна, пылесосить *carpet* и без конца выносить мусор. По поводу покупаемых на блошином рынке рамок для фотографий или кофейных чашек по 25 центов за штуку она устраивала скандалы, хотя сама с подружками каждый *weekend* отправлялась на ярд-сэйлы и притаскивала шмотки, которые загромождали стенные шкафы. Её постоянная агрессия по пустякам изматывала нервы, и однажды Миша полушутя спросил Ньюму, не согласится ли он по дружбе оттрахать его жену, авось после этого она немного остынет и даст ему хоть немного покоя. Ньюма воспринял просьбу очень серьёзно и озабоченно спросил:

— А как мне быть, если у меня на неё не встанет?

— Но она же симпатичная, моложавая, начитанная, — настаивал Миша, уже стараясь обратить свою просьбу в полную шутку и понимая, что действительно имеет дело с

законченным трусом. — Знаете ли, Ньюма, — то что для одного безрассудная страсть, для другого — просто жена.

Причина семейных трудностей Миши была вполне объяснима. В бытность свою в Москве он вставал в будни в четверть седьмого, чистил зубы, готовил бутерброды, надевал рабочий костюм и без четверти семь утра исчезал из дома. Утренние поезда метро были полупустыми, и он всегда комфортно сидел, почитывая научные журналы. У него на кафедре была своя комната, где в отдельном шкафике лежало всё, что необходимо для гармоничной жизни. Он ставил литровую колбу на плитку, заваривал крепкий чай, вытаскивал из портфеля бутерброды, включал радиоприёмник и в течение получаса блаженствовал. Затем брился электробритвой, после чего тщательно мыл лицо душистым мылом над большой химической раковиной и появлялся перед коллегами свежий, *как молодой редис*. Домой он не торопился, возвращался после семи вечера. Жена потчевала его обильным ужином, после чего они уютно сидели, смотрели программу канала «Культура» и кое-как дотягивали до половины одиннадцатого. В выходные он отправлялся на книжный рынок, в букинистические магазины, в Измайловский лесопарк, часто вдвоём с женой или со знакомой парой. У них была масса друзей, все работали в НИИ и любили свою работу, все обожали классику и часто её цитировали, ходили в консерваторию по абонеентам, играли в преферанс по четвергам. Наедине с женой Миша проводил два-три часа в сутки. А тут, в эмиграции, на всём готовом и с удостоверением о неполноценности он оказался в тесном контакте с женщиной семнадцать часов в сутки и именно тут выяснилась их психологическая несовместимость.

Особенно его раздражали бесконечные вопросы «*ты куда?*» и «*кто звонил?*». Он постоянно ощущал себя под колпаком. Она привыкла не запирает за собой дверь в ванную комнату и он всегда испытывал отвращение, застав её сидящей на унитазе. Ни о каком желании обладать этой женщиной у него давно не возникало, и в то же время ему страстно

хотелось женщину. Однажды он на лестничной площадке столкнулся с пьяной в дым американкой. Та, по-видимому, заблудилась в их огромном субсидальном доме. Он подошёл к ней и впился в её пьяные губы длительным поцелуем. Она тут же спросила его, есть ли у него *Space*, где бы они могли уединиться. Нет, никакого личного пространства у него не было. Всё было занято женой.

После этого крошечного приключения он старался вообще как можно меньше времени проводить дома. Однажды, встретив его во дворе колледжа, я спросил, не хочет ли он по старой памяти помогать отстающим студентам по химии и началам математики. Через короткое время он стал *тьютором* (чтобы получить должность преподавателя, нужен был американский диплом) и был мне бесконечно благодарен. Несколько раз мы вместе обедали в ближайшем ресторане и даже стали прогуливаться вдоль береговой полосы, но я был тогда ужасно занят своей работой и постепенно наши отношения почти сошли на нет. Время от времени ему мучительно хотелось выговориться и при встрече он тащил меня в кафе, чтобы поделиться своими микроскопическими переживаниями.

*Cherchez la femme!* Женщину звали Аня. Приехала она из Донецка, где преподавала в музыкальной школе. Муж её во времена перестройки занялся рискованным бизнесом — продавал скопившееся за годы застоя тяжёлое вооружение на Запад через бывшие страны народной демократии. Зарабатывал он хорошо, но не учёл, что криминальные элементы тоже хотели присосаться к делу и стали устраивать кровавые разборки с бизнесменами. В одной из таких разборок муж словил девять грамм, оставив после себя японскую машину «Мицубиси» и двухкомнатную квартиру. Сына он благодарно выпер в Америку с незаконченным высшим образованием лет за пять до того.

Аня поехала в США, потому что надеялась прожить остаток жизни вблизи сына, вот, мол, он женится, пойдут внуки,

и она окажется при деле. Однако сын хотя её и встретил, но к себе не повёз. Он в это время только устроился в одну фирму в Сан-Франциско, а чиновники определили жить ей в Массачусетсе, где давние друзья мужа внесли за неё залог. Они же нашли для неё квартирку-студию и помогли с оформлением документов. Так она осела в нашем городке П.

Не всякий сможет легко адаптироваться к внезапному одиночеству, когда ни слова не понимаешь по-английски (она всю жизнь учила немецкий). Крошечная квартирка-студия, где кухня даже не отделена стенкой от спальни-столовой. Подержанный телевизор, который сын приволок с какой-то помойки и в котором каждые пять минут звучала крикливая реклама. Каждый вечер Аня отправлялась пешком к единственно знакомым друзьям мужа, которые уже шесть лет жили в США, свободно болтали на неродном языке, работали и укрепляли своё положение в Новом свете. Хозяева всегда радушно принимали Аню, обязательно кормили ужином с водочкой, селёдкой и винегретом (ужин *а-ля-русс*), после чего гостью на машине за пять минут доставляли домой. Через месяц такой жизни Аня почувствовала, что сходит с ума. Квартирка стоила ей четыреста пятьдесят долларов в месяц, и она с тревогой думала, что через год ей придётся просить сына платить за неё. Сдуру она не продала двухкомнатную распашонку в Донецке — а вдруг понадобится сыну. Слава богу, вблизи находился «Русский магазин», в котором одна милая толстушка дала ей массу советов, как приспособиться к новой жизни и, в первую очередь, довела её до местной поликлиники с русскими врачами и записала на приём к психотерапевту, сказав:

— Если Арон Моисеевич признает у вас депрессию, считайте, что вы выиграли в лотерею.

Аня пришла на приём и после первого же вопроса врача залилась слезами и рассказала, как очутилась на чужбине совсем одна. Арон Моисеевич оказался очень отзывчивым человеком и даже настолько, что сам заполнил многостраничную форму о её нетрудоспособности и отослал

в соответствующие инстанции, прописал Ане кучу успокаивающих и антидепрессантов и велел регулярно его посещать. На прощание он посоветовал ей занять своё время изучением английского языка в группах, дабы не только совершенствовать свои познания, но и общаться с соотечественниками.

Аня последовала его советам и поступила сразу в две группы, одну при местном колледже, которая называлась «*English as the Second Language*», и другую, созданную в основном для приезжающих испаноязычных, которую называли «*Bootstrap*», о котором я уже говорил. Она отметила, что подавляющее большинство учащихся эмигрантов из России приходило на занятия парами, и бабы зорко и подозрительно смотрели на одиноких женщин, охраняя своё законное имущество. Лишь только одна пара из Москвы оказалась простой в общении и радушной. Аня часто у них ужинала, и регулярно к ужину подавался всё тот же винегрет с селёдкой и бутылка водочки. После пары рюмок Аня успокаивалась, даже становилась весёлой и общительной, брала гитару, которая чудом застряла в той семье, и пела для них давно известные *городские* романсы, но предпочитала Булата Окуджаву, которого боготворила. Домой её не провожали, да она уже и привыкла к одинокому существованию. Особенно тяжело было просыпаться среди ночи, вертеться в ненавистной постели, и терзаться думами, зачем она сюда приехала, как дожить оставшиеся беспросветные годы. Покойная мать говорила про свою неудавшуюся жизнь:

— Как жить ни тошно, а ведь не возьмёшь верёвку, не повесишься!

Знакомство с Ньюмой у неё произошло в *Буутстрэпе*. Он, конечно, назвал себя Наумом. Что ещё за Ньюма? С Ньюмой ни одна приличная баба не станет разговаривать. Там, среди молодых латиноамериканцев они оказались единственной русскоязычной парой, и в перерывах между уроками малопомалу разговорились, хотя Ньюма больше молчал и слушал.

Потом он почтительно провожал её к дому и целовал на прощанье *ручку*. Однажды он осмелел и поцеловал её в губы долгим и страстным поцелуем. Так начались их интимные отношения.

Однажды в солнечный мартовский день Миша ехал на своей развалюхе по Washington Street и увидел Ньюму со спутницей в спортивной куртке с капюшоном, накинутым на голову. Пока горел красный свет, он открыл окно и крикнул:

— Привет, Ньюма! — и помахал рукой.

— Кто это? — спросила Аня.

— Это Михаил, он доцент, — ответил Ньюма. — Он даже работает помощником преподавателя в нашем колледже и учится английскому языку на высоком уровне.

До дома на машине оставалось ехать две минуты и за эти две минуты Миша решил, что эта женщина под капюшоном должна стать его подругой во что бы то ни стало. Он представил себе Ньюму, который не любил мыться и подолгу ходил в пропотевшей одежде, представил, как он раздевается перед сексом, и его затошнило. Хотя и есть присказка, что настоящий мужик должен быть волосат, свиреп, вонюч, но Ньюма был явно не из свирепых, он был кашеобразен, хотя физически крепок. Неизвестно, как ему (как и многим вокруг) дали освобождение от работы, но он сам рассказывал, что его долго пытали на комиссии, на что он жалуется, и он долго соображал, пока сказал, что вот, зуб болит...

Миша разработал план, как войти с Аней в контакт. В *Бу-утстрате* было ещё несколько групп для эмигрантов, отличающихся уровнем подготовки. Когда-то раньше Миша поднёс коробку конфет администраторше и его зачислили вне очереди. Теперь настала пора начинать охоту за прекрасной незнакомкой. Во время перерыва он быстро нашёл нашу пару и, познакомившись с Аней, выложил студенческий анекдот про то, что студент говорит доценту:

— Помню, что учил, а что учил не помню.

Она оценила юмор и улыбнулась. При улыбке её лицо стало неотразимо прекрасным, и Миша понял, что погиб

окончательно. Ньюма явно был недоволен, но в силу умственной заторможенности молчал, не зная, как увести Аню подалее от расшалившегося доцента.

Миша понимал, что трёх раз в неделю по десять минут явно недостаточно для продолжения знакомства, тем более, что Ньюма, почуяв опасность, стал удерживать Аню внутри класса. Поэтому он улучил момент, когда она оказалась одна и сказал:

— Группа, в которую вы сейчас ходите, очень слабая. Вы в ней только напрасно потеряете время. Я могу договориться, чтобы вы пошли в нашу группу. Там отличный педагог, и я вам смогу помочь на первых порах, хотя я сам испытываю огромные трудности с разговорным английским.

— Я подумаю, — ответила Аня, но Миша учуял, что она спросит у Ньюмы, а тот начнёт давить на психику и она в конце концов останется с ним.

— Не надо думать, надо решать проблему, — сказал он. — Давайте зайдём к администратору и спросим, насколько это возможно.

Милая женщина улыбнулась им и, сделав отметку в журнале, сказала, что Аня уже послезавтра может перейти в группу Миши.

Увидев Аню в своей аудитории, он возликовал. Теперь нужно было очень осторожно начать осаду крепости. Он понимал, что ни в коем случае не должен задавать вопрос об её связи с Ньюмой, это могло мгновенно разрушить едва налаживающиеся отношения. На занятиях им приносили массу ксерокопированных материалов с картинками и вопросами под ними, на которые учащиеся должны были дать ответы. На одной из картинок был изображён экран телевизора, и Миша написал на нём «*I love you*».

— Хорошее название фильма, — усмехнулась Аня.

Между тем весна сменилась летом. К этому времени Аня сдала экзамены по вождению и обзавелась дешёвенькой, поддержанной «*Тойотой*». Машина дала ей возможность найти

работу в соседнем городке, где она преподавала скрипку в нескольких семьях. Однажды Миша остановил её по пути домой с просьбой подвезти. Едва усевшись на заднее сиденье, он воскликнул:

— Если бы вы знали, Анна, как мне вас не хватает!

— Вот ещё новости! — нахмурилась Аня.

— Как бы вы ни относились к моим словам, — продолжал он, — но запретить мне любить вас вы не можете.

В один из июньских дней Ньюма не явился на занятия, и Миша провожал Аню до дома. Прощаясь, он уверенно прижал её небольшое худенькое тело к себе и поцеловал.

— Ну, это уже выходит за все рамки приличия, — сказала она и в глазах её блеснули слёзы досады.

Я тогда уже знал от Ньюмы, что у него появилась пассия и что они изредка с нею ездят в огромный лесопарк, где распивают пару бытылок пива, а потом бродят по лесу. Ньюма, как я понял, страшно боялся оказаться не на высоте в случае настоящего секса и всячески оттягивал этот решающий момент. Миша, напротив, рвал удила. Он стал регулярно дарить Ане всякие серебряные безделушки, узнав случайно, что она не любит золотые украшения, а всегда предпочитала серебро. Зная прижимистость Ньюмы, я предполагал, что даже пиво, которое они распивали с Аней в лесу, покупала она.

В нашем городке есть несколько небольших парков и волей-неволей эмигрантское неработающее население часто встречалось там и вело оживлённые беседы. Миша знал, где он может встретить Ньюму с Аней и регулярно их перехватывал на таких прогулках. Они втроём выискивали уголок поукромней и усаживались напротив друг друга, причём Ньюма всегда по-хозяйски обнимал Аню за плечи, и она не протестовала. Миша бесился от ревности и даже написал стихок про свою смертельную ревность, который подsunул под дворник её машины. Там были такие строчки:

*Я опоздал. Другому все блага —  
И нежность губ, и радость обладанья,*

*А мне лишь горечь лютого терзанья  
И гнева черно-злые облака.*

*Он неопрятен, сер, до отвращенья скуп,  
Как нищий, он молил твоей любви и ласки.  
И вот дождался воплощенья сказки —  
Не я, а он вкусил благоуханье губ.*

*Что из того, что я его умней!  
Я опоздал, и приговор свершился.  
Не я, а он любви твоей добился.  
И лес укрыл вас средь своих ветвей.*

*О, горечь ревности, оставь, оставь меня!  
Неправедный мой гнев,— подобие кинжала  
И острый мой язык, что колет словно жало —  
Напрасно всё, не потушить сердечного огня!*

Не зря говорят, что женщины любят ушами. Она, разумеется, прочла этот вопль души и ответила на следующем занятии коротенькой запиской на его тетради:

— Нет, ты не опоздал.

Он проводил её до каморки-студии и дальше всё поехало, как в современном фильме — судорожное срывание одежд, первый освобождающий вздох, ощущение полёта и бравадный финал. Потом осторожные ласки, шёпот, снова нарастание возбуждения, опять радость вторжения, радость, радость, которая, как казалось, будет длиться вечно.

Миша возвращался домой к опостылевшей подруге жизни, не чувствуя ни малейшей вины за содеянное. Он потом признавался мне, что случившееся с ним он воспринимал не как падение, а как дар небес. Единственное, что его смущало — возраст, в котором всё это произошло с ним. Ему уже было 62 года (а Нюме — 67). Если бы ему в Москве кто-нибудь рассказал о пламенной страсти пенсионера, он бы просто рассмеялся и ввернул замечание типа надо же! и он туда же!.

Аня не стала вести войну на два фронта, она просто прекратила отношения с Ньюмой. Тот никак не желал признавать своего поражения, но что он мог противопоставить Мише? Ведь он был трусом! Видимо, взвесив на весах, что ему дороже, он решил остаться в друзьях с Мишей и, выбрав момент, пригласил того на прогулку в парк на берегу залива. Когда они уселись на скамейке, он неожиданно сказал:

— Я хочу вам признаться, что реально у меня с Аней ничего не было.

— Как это может быть? — спросил Миша.

— Я не вру. Я действительно пришёл к ней, и мы легли, но я не смог сделать своё дело и ушёл, а она позвонила мне на следующий день и сказала, что ещё не всё потеряно, но я уже боялся, что опять осрамлюсь...

— А зачем вы мне это рассказываете? — опять спросил Миша.

— Ну... я же вижу, что вы с ней очень подружились, я часто вас вижу вдвоём...

Он сидел рядом с Ньюмой и чувствовал брезгливую жалость к человеку, который не может постоять за себя и за женщину, которая его выбрала.

А жизнь Миши чудесно изменилась. Мы уже знаем, что он привык вставать очень рано ещё в Москве. Сейчас он быстро завтракал и стремился вон из дома, прихватив два квотера. Получив стандартный вопрос жены ты куда?, он отвечал так же стандартно, что за газетой, но на самом деле он стремился к телефону, набирал знакомый номер и вот уже желал доброго утра и строил планы, где и когда они встретятся. После этого он возвращался и приступал к ежедневным обязанностям по уборке квартиры с тем, чтобы через пару часов выпорхнуть из дома, на ходу отвечая на осточертевший вопрос ты куда? — на океан, погулять.

Он однажды обратился ко мне с риторическим вопросом:

— Что мне делать, ведь жена сжирает мою печень! Я ходил к её сестре и просил помочь, поговорить с ней, а та

только посмеивается. Всем смешно! Вот, почему другие бабы устраиваются, где-то подрабатывают, время идёт не так скучно. Возьмите, к примеру, Аню. Она и преподаёт, и работает бебиситтером в соседнем Марблхэде...

После пятого или шестого обращения ко мне на эту же тему я посоветовал ему разделить банковские счета и подать заявление на отдельную квартиру, благо у него была справка о хронической депрессии. Он оказался, как это говорят, *везунчиком*. Через полгода его вызвали в менеджмент и предложили однобедрумную квартиру. Он был счастлив. С энтузиазмом он стал вить своё гнездо, но главное — он мог теперь свободно встречаться с Аней.

Нюма избрал хитрую тактику, чтобы портить настроение Мише. Он всюду таскался за ним, а потом доносил его жене, где они были или что покупали:

— Миша купил очень красивую плёнку для ванной, — говорил он ей.

— Миша купил на блошином рынке четыре японских чашки с блюдцами, — доносил он в другой раз.

Однажды он узнал, что парочка поехала в «Walmart» и сманил Мишину жену поехать туда же. Там они и накрыли их, гуляющих под ручку.

— Уведёт мужика, — сказал Нюма и в его голосе прозвучала убеждающая нотка.

Теперь они охотились за парой и поодиночке, и вдвоём. Мише с Аней приходилось выбирать маршруты всё дальше от дома. Потом, возвращаясь к подруге жизни, он слышал один и тот же раздражённый вопрос — *где ты был?!* Он плёл всякую околесицу в ответ и старался поскорее исполнить домашние поручения и упереться глазами в книжку или в телевизор, только бы не начинать общаться.

Подумать только! Всего час назад он был безгранично счастлив. В пригородном лесу, или в многолюдном магазине, или даже на живописном городском кладбище, везде, где они становились словно невидимыми, она вдруг прижималась

к нему своим ладным лёгким телом, и он витал в блаженстве и целовал её сладкие губы или вкладывал ей в рот виноградину или клубничину и они вместе её съедали. Они ходили по асфальтированным дорожкам безлюдного в будние дни кладбища, ели фрукты и распевали советские пионерские песни про счастливое детство. Ко дню её рождения Миша расчертил плакат их маршрутов, где были, конечно, и проспект Любви, и улица Девочки-Ани, и переулок Поцелуев, и винный магазин «Восторг», где они прихватывали пятидесятиграммовые бутылочки с коньяком, чтобы прогулка была на высоте.

— Ты меня развратил и растлил,— повторяла она почти серьёзно, и было смешно слушать это из уст пятидесятилетней женщины, у которой в молодости было немало романтических встреч. Да, он был весьма изобретателен в ласках, и ничуть не стеснялся своего умения и радовался, что она шла навстречу его желаниям.

Тем временем Ньюма продолжал звонить ему и таскаться с ним по магазинам или в колледж, а потом исправно докладывал последние новости Мишиной жене, которая пылала неиссякающей злобой к Ане и даже писала ей гадкие письма, где приводила все сплетни о её отношениях с мужчинами. Кем-то замечено, что чем меньше городок или селение, тем ужаснее злобные сплетни соседей, которые фиксируют все мелкие детали жизни, включая даже консистенцию стула или свежесть každодневной сорочки. Лет двадцать назад Миша отдыхал на Смоленщине в небольшой деревне и поразился злобе, с которой местные бабы говорили друг о друге, что, однако при встрече ничуть не мешало им обниматься и смеяться.

Однажды в весёлом настроении Миша предложил Ньюме зайти к Ане и посидеть часок за кружкой пива. Ньюма тут же согласился, и Миша с полудюжиной пива и Ньюмой в качестве бесплатного приложения через полчаса уже сидели

в крошечной квартирке Ани. Она была рада их приходу и не скрывала этого, потому что в П. было лишь несколько человек, которые, встречая её на улице или в магазине, здоровались или удостаивали пятиминутной болтовнёй ни о чём.

— Хорошо сидим, — сказала Аня Ньюме, когда Миша зашёл на минуту в туалет. — Надо бы собираться почаще.

— Можно было бы ещё лучше посидеть, — ответил Ньюма.

— Как это? — не поняла Аня.

— Без Миши, — сказал Ньюма, выдержав длинную паузу.

Аня не нашлась, что ответить, да к этому моменту Миша уже вышел из туалета. Об этом коротком разговоре с Ньюмой она поведала ему через полгода, и он вскипел мгновенно и в первый раз подумал о поверженном сопернике с лютой ненавистью.

Нужно признать, что Миша вовсе не был Дон Жуаном и привязывался к женщине всей душой, как бы строптива она ни была. Так, прожив с законной половиной почти сорок лет, он почти всегда терпеливо исполнял бесконечные домашние поручения, выслушивал выговоры за отсутствие при этом старания, а также за то, что он скучный и за то, что ничего не умеет толком отремонтировать. При этом совершенно игнорировалось, что он на своей должности зарабатывает почти пять сотен рубликов в месяц. Да, у него был довольно вялый роман с одной из аспиранток, когда ему было под сорок, но он вовсе не пылал к ней страстью. Она буквально подлезла под него, так ей хотелось поскорей защититься. Он помог ей провести исследование и опубликовал с ней пять статей в академических журналах.

Потом, уже на исходе столетия он познакомился с одной научной дамой, которая сидела в приёмной учёного секретаря одного НИИ и выправляла бумаги. Она была разведена и обижена жизнью, тосковала от одиночества, и он сошёлся с ней скорее от жалости к её судьбе. Она же, видимо, ощущала его, как последний счастливый шанс в её жизни и вцепилась в него мёртвой хваткой. Через пару лет она поставила вопрос ребром: они должны венчаться в церкви, а он должен

уйти от жены и точка. Она никогда не контактировала с его женой, но испытывала к ней жгучую ненависть, считая, что только из-за неё он до сих пор не стал доктором наук и профессором. Миша вертелся, как уж на сковородке, не решаясь разрубить этот узел, но природа сама помогла ему. У его подруги открылся запущенный рак яичников и она сгорела через полгода в мучениях.

И вот теперь, когда нормальные мужики подводят итог прожитой жизни и начинают думать о вечном, он увидел Аню, вспылал к ней страстью и стал вести совершенно неподобающую ему по возрасту жизнь. Либи́до давало ему такую массу радости, что он стал выглядеть лет на десять моложе.

Конечно же, в длительной связи с любой женщиной неизбежно возникают время от времени мелкие и не очень мелкие конфликты. Характер у Ани был взрывной, она вспыхивала мгновенно и потом долго, очень долго злилась, а он страдал и всячески её обхаживал, идя на компромиссы и выслушивая малоприятные вещи о себе самом. Но пребывание в сильном отрицательном поле своей супруги казалось ему куда большим злом и поэтому ни разу ему не пришлось в голову бросить Аню, пойти повиниться перед женой и остаться при ней доживать считанные годы.

Его задевало, что Аня сделала из своего погибшего мужа икону. То, что он занимался в годы перестройки практически криминальной деятельностью, в результате которой и погиб, даже возвышало его в её глазах.

— Он был настоящий мужик, заботился обо мне и был очень дальновиден. Вовремя отправил сына в Штаты, потому что не хотел, чтобы из него приготовили пушечное мясо для очередного Генсека, — говорила она Мише. — И деньги он зарабатывал немалые. Ему просто однажды не повезло. А то бы жила я в Испании в собственном доме и с хорошим счётом в надёжном Европейском банке.

Миша молча кивал головой. Он чувствовал, что обсуждение этой темы было для него адекватно балансированию бо- сиком на лезвии обоюдоострого меча.

Впоследствии он понял, что её нервозность в отношении его жены была связана с тем, что он не хотел порвать с ней юридически, дабы не выставлять себя на посмешище перед всей еврейской *комьюнити*.

— Стоит ли придавать значение пустой бумажке, если и так я давно уже живу отдельно? — спрашивал он Аню. — Подумай, ведь мне уже шестьдесят восемь лет. Зачем вмешивать государство в наши с тобой отношения? Ну, если бы я был богат, тогда другое дело, но у меня ничего нет. Библиотека моя осталась в России, серебряный портсигар — память от отца и его золотой Моген Довид у меня отняли на таможене при выезде. Деньги за проданную квартиру лежат на счету у двоюродного брата жены, и я не желаю о них говорить. Я и без них как-нибудь проживу.

Однако когда на неё напала хандра, она капризничала и совершала совершенно немыслимые поступки. Однажды она решила переменить свою жизнь и через Интернет познакомилась с каким-то американцем в штате Мэриленд. Он пригласил её пожить у него, дабы они могли попробовать начать совместную жизнь и если бы всё получилось, она могла бы остаться у него навсегда.

Когда Миша узнал о её намерении, он весь похолодел. Взяв себя в руки, он спокойно, даже чересчур спокойно сказал:

— Ты, конечно, свободный человек и имеешь право выбирать, как тебе прожить остаток дней, но учти, что если у тебя с этим старым дураком не сложится и ты должна будешь вернуться сюда, между нами никаких отношений уже не будет. Я вычеркну тебя из своей жизни в день твоего отлёта.

Его холодная злость подействовали на неё отрезвляюще. Она осталась, и они никогда об этом происшествии не вспоминали.

Что мы можем узнать о своём будущем! Говорится, что если хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. После пяти с половиной лет почти полного счастья, как гром среди ясного неба, на него обрушилась новость, что

сын Ани выбрал себе в жены француженку, родил сына Анри и теперь требует её срочного приезда в Калифорнию, дабы нянчить и растить ребёнка, а ему и его жене некогда с ним возиться. Надо зарабатывать денежки и много.

Сразу стало ясно, что Мише там делать нечего, да и в качестве кого он поедет? Если бы он был при своей профессии, а профессия пользовалась спросом, ещё можно было бы найти компромисс. Но он был престарелым придурком в законе, получившим все блага американского общества на халяву, благодаря симпатичному русскоязычному доктору-психотерапевту. И вот теперь он оставался один в своей прекрасной *ван-бедрумной* квартире, оставался навсегда.

Я встретил его вскоре после отъезда Ани и подивился резкому изменению его облика. Он превратился в тряпичную куклу. В глазах пропал интерес к жизни. Он стал мне жаловаться на приступы мигрени, на боль в суставах, на проблемы с мочеиспусканием. Говоря о реакции соседей на отъезд его возлюбленной, он оживился и в глазах его вспыхнул огонь ненависти.

— Как они все рады, как довольны! — воскликнул он. — Ну, ничего, я придумаю, как испортить им всем настроение. Видели бы вы Ньюмину рожу — словно миллион выиграл. Звонить стал, спрашивает как мои дела, предлагает прогуляться и прочее. Просто удивительно, как быстро эта плохая для меня новость разошлась по городку.

Я посоветовал ему вернуться к преподавательской деятельности или быть волонтером. Он только рукой махнул. Нет, нет, ничего в голову не идёт. Десять лет прошло, как он здесь, и настолько отстал за это время от последних успехов науки, что скоро вообще перестанет понимать статьи в журналах.

— Знаете, что забавно? — сказал он. — В конце восьмидесятых я познакомился с одним профессором на кафедре органической химии, который защитил докторскую по масс-спектрологии. Мне тогда очень нравились их методики

определения строения вещества по спектрам. И вот, уже здесь я взял том органической химии двухтысячного года издания для студентов, пока ждал очередного *гения*, не справляющегося с уроками, и начал решать прикладные задачи по масс-спектрокопии. Представляете? За десять с небольшим лет *то, на чём он защитил докторскую*, стало рутинной практикой студентов, занимающихся органическим синтезом!

Видимо, тоска заедала его. Он ежедневно писал Ане длинные письма, звонил. Она отвечала ему вполне приветливо, но ответных писем не писала, очень была занята внуком, а на подходе уже намечался и другой. После очередного звонка Ньюмы, Миша послал его грубо на три буквы и добавил, что если тот ещё раз позвонит, он ему при встрече даст в морду. Ньюма тут же не преминул сообщить жене Миши, что тот его обидел ни за что. Жена затаилась в своём логове и не проявляла никаких признаков жизни. Так барракуда прячется в расщелине скалы под водой, чтобы нанести внезапный смертельный укус жертве. Наверное, она выжидала, что муж приползёт к ней на коленях вымаливать прощение.

Миша знал, что она с Ньюмой ходит в один и тот же «*детский садик*» для престарелых. Он с отвращением представлял себе эту обстановку с совместными завтракам и обедами, эти старые седые головы и лысины, затхлый запах дыхания нездоровых тел, бестолковые разговоры людей, не занятых никакой работой. Он их всех презирал, а Ньюму просто ненавидел. Почему он сосредоточился на этом, объяснить невозможно. Загадки психики.

Периодически встречая Ньюму в русском магазине, он теперь всегда задавал ему один и тот же вопрос:

- Ты ещё не сдох? и добавлял:
- Жалко!

Ньюма при этом молчал и делал вид, что не слышит. Почему-то Мишу это особенно распаяло и он по дороге домой придумывал Ньюме разные мучительные казни.

Он с молодости привык готовить себе еду, да и набил руку в туристских походах, так что в ресторанных услугах не нуждался. Это сэкономило кучу денег и, главное, хоть немного отвлекало от тягостного состояния одиночества. Но чем-то всё-таки заниматься было необходимо просто для того, чтобы не сойти с ума. Он принялся с энтузиазмом читать научно-популярный журнал «*New Scientist*», не выпуская из рук словаря. Часто ему приходилось заходить в Интернет и искать информацию на русском языке, поскольку на английском научные словосочетания казались просто оксюморонами. Художественная литература раздражала бессмысленными длиннотами и примитивностью сюжетных линий. Судьбы придуманных героев его совершенно не интересовали. Однако вдруг он увлёкся поэзией, как мальчишка, и на прогулках со мной по берегу океана с удовольствием цитировал большие куски из «Евгения Онегина», «Демона», очень любил Бродского и постоянно критиковал Пастернака. В виде развлечения он стал переводить на русский стихи Киплинга.

Однажды он сказал мне:

— Я знаю, отчего мне так плохо сейчас живётся. Я всю жизнь привык о ком-нибудь заботиться. Сначала о сестрёнке, потом о жене, потом о сыне, особенно о сыне. Но он оказался совершенно бесталанным, не мог учиться, его выгнали из института, он попал в армию и там превратился в совершённое ничтожество. Вы знаете, что такое быть евреем в Советской армии? Он не смог себя защитить и прослужил два года рабом у одного могучего татарина. Вернулся с совершенно изувеченной ментальностью. Единственным благом было то, что он не попал в Афганистан, где бы его обязательно убили. Вот, мы уехали, а он отказался. Стал торговать всякими журналами, книжками. Он это называет бизнесом. Я ему говорю, что в современной бандитской России нечего рассчитывать на нормальную обеспеченную жизнь, а он мне отвечает, что его тошнит от английского языка, а нас всех уехавших считает предателями.

Вот, была у меня Аня. Обыкновенная женщина с хорошим музыкальным образованием. Мне было очень приятно о ней заботиться, тем более, что она не была одержима идеей чистоты и не вытирала ежедневную пыль, не мыла бесконечные окна и не вешала занавески, не просила меня пылесосить, выносить мусор и прочее.

Тут он усмехнулся и добавил:

— Забота о ней была лишена чувства тревоги. Это очень даже здорово. Это порождает радость и спокойствие в душе. А забота о сыне всё время сопровождалась такой тревогой, что я даже в церковь ходил и свечи ставил перед ликом Божьей матери. А синагога меня никогда не манила. И вообще еврейский бог мне чужд, потому что он очень жесток, не прощает ошибок.

Наверное, я очень плохой человек, потому что злоба и ненависть к некоторым персонам здесь, как ни странно, даёт мне импульс к существованию. Возлюбить ближнего мне не дано, и я от этого не страдаю. А как я, по-вашему, должен относиться к тому, кто встретил однажды Аню в разгар нашей любви и доложил, что я, хоть и живу отдельно, но обедать хожу к жене? Ведь это же подлость и трехкратная подлость, потому что неправда.

Я знал эту *некоторую персону*, но всё же недоумевал, как тот мог возбудить столь сильные чувства в душе Миши. Между тем, он всё более и более погружался в свою ненависть и, встречая Ньюму в русском магазине, каждый раз спрашивал всё более свирепо:

— Когда же ты наконец сдохнешь?

Нюма по-прежнему делал вид, что не слышит, и это особенно его раздражало. Ему хотелось вызвать свару, которую потом можно было бы превратить в драку и набить Ньюме благообразную физиономию. Однако Ньюма на провокацию не поддавался.

Постепенно желание мести Ньюме превратилось у Миши в *идею-фикс*. Обычно перед сном он подолгу рассматривал

варианты, как бы лишить Ньюму жизни. К этому времени Ньюма посолиднел килограммов до девяноста, а Миша был около шестидесяти пяти. К тому же он чувствовал, что суставы рук ослабели из-за начавшегося артрита. Убить Ньюму ножом ему казалось неэстетично, а вероятность, что он попадёт в аорту или в сердце была мала, да к тому же ему становилось дурно при виде крови. Отравить Ньюму тоже не представлялось возможным, хотя он привёз из России бутылочку с цианистым калием, который изготовил собственными руками в лаборатории. Застрелить Ньюму он не мог никак, потому что оружия у него никогда не водилось, а идти в полицию, заполнять анкету ему не хотелось.

Однажды в виде шутки он спросил у меня, каким бы способом я расправился с ненавистным мне предателем. Я ответил, что никогда об этом не думал, потому что никого из моего окружения я настолько не ненавижу.

— А я знаю один верный способ, но никому не скажу, — ответил он со злорадством.

Я только пожал плечами и с сожалением подумал, что одиночество не всем идёт на пользу. Должен признаться, что я тогда не придал значения его словам, скорее отнёс их к чудачествам возрастных изменений мозга. Всё-таки ему уже было почти семьдесят. Однако я не смог тогда оценить последствий его ночных фантазий.

Он выбрал в качестве орудия мести обычный пластиковый хомут, который по-английски называется *cablе-tie* и свободно продаётся в огромных хозяйственных магазинах *Home Depot*. Единственная трудность заключалась в покупке нужного размера, чтобы через него можно было легко продеть голову. Все эти подробности Миша мне рассказывал, идиотически посмеиваясь, когда был отпущен домой, как общественно безопасный придурок, до даты назначенного судебного разбирательства. Он не испытывал ни малейшего сожаления по поводу совершённого злодеяния и даже сказал, что с удовольствием отсидит свой срок в комфортной американской тюрьме, которая снизойдёт к его возрасту и не будет

заставлять исполнять тяжёлые работы. Притом ему не надо будет заботиться о пропитании и оплатах разных счетов. Всё берёт на себя государство... Всё берёт на себя государство.

Он купил сразу пару десятков хомутов длиной более тридцати дюймов. Кто держал их в руках, знает их необыкновенную прочность. Затянувшийся хомут невозможно порвать руками — не хватит никаких человеческих сил. Его можно только разрезать или перекусить клещами. Так вот, он соорудил из скрученных вместе подушек рулон диаметром в человеческую голову, водрузил его на этажерку с книгами, очистив верхнюю поверхность от безделушек, и начал тренировки — он хотел надеть хомут на голову Ньюмы так быстро, чтобы тот не успел сообразить, в чём дело. Через мгновение Миша намеревался быстро спустить хомут на шею Ньюмы и мгновенно затянуть его с максимально возможным усилием. Он извёл на эти тренировки с подушками все хомуты и снова поехал в *Home Depot* за новыми.

Со следующего дня он начал слезку за Ньюмой. Автобус развозил посетителей «Детского садика» в три часа дня. Миша стремился оказаться на пятом этаже субсидального дома заранее и ожидать Ньюму у лифта. В его распоряжении было секунд десять-пятнадцать. Он надел один хомут на шею, а другой держал наготове в руках.

И вот, Ньюма появился, вышел из лифта с соседкой по этажу. Она пошла направо, а он двинулся, не спеша, к своей двери. Миша на цыпочках подбежал к нему, быстрым, натренированным движением сзади накиннул хомут на голову, опустил до уровня шеи и резким движением затянул. Пока Ньюма соображал, что произошло, Миша старался затянуть хомут ещё туже. Через пять секунд Ньюма сполз вдоль стены на пол. Лицо его наполнилось кровью, невидящие глаза выкатились. В это время хлопнула дверь и в коридоре появилась соседка с сумкой на колёсах. Увидя лежащего Ньюму, она не подошла, а спросила, что с Ньюмой. Миша ответил спокойно:

- У него голова закружилась.
- Так вызовите *emergency*...

— Да, я сейчас вызову, — ответил тот спокойно.

В это время подошёл лифт, и соседка поехала вниз. Миша посидел на корточках перед Ньюмой ещё минут пять, вытащил было нож, чтобы разрезать хомут, но потом положил его в карман и спокойно спустился вниз. Затем он направился в здание полиции и заявил дежурившему полицейскому, что он случайно, ненамеренно убил своего друга, оставил свой адрес и телефон, адрес Ньюмы и ушёл домой пить чай. На него неожиданно напала страшная жажда.

## Письмо

### **СЕГОДНЯ Я РЕШИЛ, НАКОНЕЦ, ПОСЛАТЬ ПИСЬМО МАМЕ.**

Что-то мне подсказывает, что она будет рада ему, хотя её уже нет с нами шесть лет. Рождённая в пригороде Елизаветграда, она окончила дни свои на неметчине под Мюнхеном в возрасте девяноста семи лет в больнице, находясь до последней минуты в полном сознании и конфликте с моей сестрой, которой сказала с раздражением:

— Значит, я эгоистка.

Сказала и отключилась, словно вытащили вилку из розетки. Наверное, она хотела ещё что-то добавить, но не успела. Почему я так говорю? — да потому, что когда сестра пошла на кладбище её проведать и полить цветы на могиле, из-под земли возмущённо вылетело облачко газа и устремилось к небесам. Так человек иногда с досадой шумно выдыхает скопившийся в лёгких воздух. Вот и верь после этого нашим атеистам и агностикам, что *там* ничего нет и быть не может.

А я, представляешь, мама, вот уже восемнадцать лет живу на берегу Атлантического океана. За это время я три раза был у вас гостях, а перед твоим отъездом к детям в Германию я тебя очень не любил из-за того, что ты всё своё имущество и квартиру превратила в деньги, а мне на прощанье перед отлётом вручила бутылку палёной русской водки со следами грязных пальцев на стекле. Особенно меня возмутило это грязное стекло. Я водку, разумеется, с негодованием отверг. Спросить тебя открыто, почему ты мне не оставишь хоть малую толику зелени, хоть символически, я не решился. Ты же мне намекнула ранее, что все эти деньги ты

предназначает моей сестре и её мужу, так как вверяешь им свою жизнь и благополучие на годы вперёд.

Спустя год, когда ты устроилась в чудесной двухкомнатной квартире и успокоилась, получив все возможные бенефиты, я послал тебе резкое письмо, в котором писал, что так с сыном-наследником не поступают и даже по закону я имею право на шестую часть проданной квартиры. Тогда ты поняла, что погорячилась и что бутылка водки перед расставанием на долгие годы не есть достойный подарок мне на долгую память, так что муж сестры в одну из московских командировок привёз мне пять кусков зелени. Честно говоря, я получил лишь моральное удовлетворение, потому что к этому времени мои дела шли неплохо, и я зарабатывал шесть сотен долларов в месяц, так что в родительском подарке не очень-то и нуждался.

Главное, что отношения наши стали стремительно теплеть и вот уже последовало приглашение посетить чудесный город Аугсбург, бывшую столицу ювелирного дела, один из самых старых городов Германии, названный так в честь императора Августа. Ещё ты просила писать ей письма и почаще. Я же волей судьбы и семьи оставил интересную работу и переселился в пригород Бостона, где стал вести почти растительную жизнь, завидуя своим сверстникам, которые по достижении шестидесяти лет продолжали интенсивно трудиться в своих *НИИ* и даже завели свои маленькие фирмочки.

Ты мама, всегда любила стихи. Я это точно знаю. И никогда не стеснялась их декламировать перед своими друзьями, когда они собирались на твой очередной день рождения. Этому способствовала, разумеется, пара рюмочек, от которых ты быстро становилась очень весёлой. Я как сейчас помню твой пафосный стиль исполнения:

*— Мигнул понимающе глаз носильщика — хоть вещи сне-  
сёт он бесплатно вам. Жандарм вопросительно смо-  
трит на сыщика, сыщик на жандарма... Читайте! Зави-  
дуйте! Я гражданин Советского Союза!*

Я не помню ни одной кривой усмешки на лицах взрослых, когда ты, вобравшись на стул, читала эти гениальные стихи. Потом, по истечении многих лет я вспомнил твоё исполнение и нашёл, что ты не совсем понимала, что читала, потому что первую фразу из этого отрывка ты читала угрожающим мрачным голосом, а надо было подчеркнуть, что носильщик (простой американский парень) рад услужить своему парню — советскому поэту.

А Пушкина ты тоже высоко читла вместе со всем советским народом, потому что Пушкин — это наше всё! Так сказал вождь. Я помню, как ты пела под музыку знаменитого вальса из оперы «Евгений Онегин»:

— Варум ди Ленский штейст ан ванд? — на твоём несовершенном идише, а по-немецки — это *Warum stehst Lensky du an di Wand?* То есть, — почему ты Ленский стоишь у стенки... По-моему, это чуть-чуть смешно.

Вот я и решил написать тебе письмо в стихах, чтобы ты улыбнулась:

*Пусть несерьёзно. Вы просили,  
Беря у классика пример,  
Письмо. И чтобы не забыли  
Принять Онегинский размер.  
Ну что ж, начнём повествованье.  
Где вы, уменье и старанье?  
В который раз ищут вас,  
Оставив развлечений час.  
Теперь писать не то, что прежде,  
У нас и «Скайп» и телефон,  
Проблемы вмиг решает он,  
Все на него теперь надежды.  
Но обещал я написать —  
О том меня просила мать.*

Как говорил наш поэт, — я классицизму отдал честь... и так далее. У нас начало тоже есть.

*Живу среди американцев,  
 Учю безропотно язык.  
 Полно китайцев и испанцев,  
 Советский круг, весьма велик,  
 Гуляет возле океана,  
 Сбирает сплетни утром рано,  
 Чтобы на день хватило их.  
 У круга нет забот других.  
 Мужья ползут отдельным кланом.  
 Вперёд торчат живот и грудь.  
 Вещей выискивают суть  
 Путём насмешек и обманов.  
 Их жены говорят о том,  
 Кто с кем, куда, зачем и в чём.*

Надеюсь, я тебя пока не утомил. Ты не волнуйся, всё хорошее ещё впереди. После смерти нам стоять рядом, как говорил другой поэт. Итак:

*А чем ещё им заниматься?  
 Еды — навалом, кровля есть,  
 За демократию сражаться  
 Им, как и раньше, страшно лезть.  
 Увлечься книгой интересной  
 Не каждый может, если честно...  
 Но что я всё о них, о них,  
 Как будто нет проблем своих.  
 И есть, и были, будут тоже...  
 Мигрень, артрит и плохо сплю,  
 Недобрый взгляд порой ловлю,  
 Встречая земляков-прохожих.  
 О сплетнях, о людской молве  
 Найдёте во второй главе...*

На сегодня я сделаю перерыв. Да к тому же пора предаться воспоминаниям. Ох! Есть что вспомнить, есть. Слушай мама,

как же долго вы с папой работали, не хотели выходить на пенсию. Наверное, думали, что накопите много денег (а какие у пенсионеров расходы!) и не будете себе ни в чём отказывать. В общем, получилась история стрекозы и муравья, рассказанная весьма остроумно Джеромом Кей Джеромом. Наша «любимая» власть довела страну до ручки, деньги все сгорели и не в первый раз! Это информация для тех, кто не родился и не работал до войны. Мама отнесла в сберкассу облигации Золотого займа на пять тысяч рублей и получила на руки пять тысяч таких никчёмных бумажек, что пришлось доплатить ещё тысячу, чтобы купить килограмм яблок! На дворе стоял 1998 год.

А за тридцать лет до этого мы с тобой находились в очень натянутых отношениях, потому что я был свежееиспечённым кандидатом наук, носителем благородных идей о переустройстве нашего гнилого общества, а ты была врачом в поликлинике и пользовалась своим положением, чтобы завязывать «дружбу» с полезными пациентами. Это были продавщицы разных магазинов. Они хотели, чтобы их лечили лучше, чем других граждан нашего общества, и ты создавала эту иллюзию за продовольственные наборы или импортную мануфактуру. Ещё ты очень любила дружить с начальством, то есть с главврачом поликлиники, и это тебе удавалось. Главврач Валентина Ивановна была коммунисткой и умеренной антисемиткой, поэтому еврейских врачей у неё под рукой ходило немало. Она поверила в искренность твоей дружбы настолько, что припёрлась на мою свадьбу со своим мужем, который был лютым антисемитом.

Вот этого заигрывания с начальством и бабами из магазинов я не переносил и хамил тебе постоянно в течение многих лет. Я чувствовал себя униженным из-за тебя и принципиально отказывался от твоих подачек. Интересно, что через тридцать с лишним лет я сам применяю тактику подношений здесь, на берегу океана в отношении медперсонала, службы и домоуправления, которое высокопарно называется менеджментом.

Впрочем, пора возвратиться к письму, которое я начал так успешно. Итак:

*Прошли недели... Дует осень.  
Недобр по-прежнему сосед.  
И грипп гонконгский смело косит  
Людей Америки... Жар... Бред...  
А полный злости телевизор  
Вещает, что конец-то близок!  
Здоровы ли мои друзья?  
Главу вторую начал я.  
Вам деньги на Birthday дарили?  
И сколько — двести или сто?  
И положив конверт на стол,  
Хвалебные слова твердили?  
Мне тоже от семейки всей  
Пришёл конверт на юбилей.*

Ты вполне можешь понять систему моих отношений со старой для меня окружающей средой, у которой своя экология. Она почти совпадает с атмосферой общества потребления, в котором ты вращалась столько лет.

*Да, это модное течение:  
Ты даришь им, они — тебе,  
И все довольны. Умиление  
На добрых лицах. При себе  
Весь капитал лежит нетронут,  
И все жуют и мерно стонут.  
Но! Вдруг одна мадмуазель  
Несёт не деньги. Неужель?!  
Да! Это книга! Я в восторге!  
Ахматова! Да видит Бог...  
Глядит с обложки профиль строг.  
Досталась как-то в Книготорге,  
Хотя в Америке, поверь,  
Доступно всем и всё теперь.*

Я представляю, с каким бы удивлением ты поглядела на пациентку, которая в форме благодарности принесла бы тебе не баночку красной икры, а томик стихов Ахматовой. Я, навещая вас с папой, никогда не видел изменений на вашей книжной полке. Всё кончилось когда-то приобретением первых двух томов Романа Роллана. Остальные книжицы я покупал иногда на свои студенческие давным-давно. Но ты послушай моё письмо дальше:

*Итак, мне семьдесят... Наверно  
Такой старик казался нам  
Когда-то жалким, глупым, скверным,  
Холодным до любовных драм.  
Но вот пришло... и что же вижу?  
(Коль никого тем не обижу) —  
Гормон играет, страсть зовёт,  
И ветер странствий в спину бьёт.  
Таких, как я, вокруг немного.  
Хорош иль плох, но я — другой.  
Представьте, — путь имею свой,  
Хотя у всех одна дорога...  
И я иду по ней угрюм  
Под вечный океана шум.*

Наш городок, мама, невелик, а наша еврейская комьюнити делает его ещё ограниченной, потому что все у всех на виду. Когда я купил домик в деревушке Смоленской области, я поразился тому потоку злословия, который изливали жительницы друг о друге за спиной, что не мешало им при встрече шутить и обниматься. Мне, как жителю столицы, особенно трудно привыкнуть к этой тесноте общения. Я и не привык до сих пор, хотя живу здесь почти восемнадцать лет. Итак:

*Но я ведь обещал о сплетнях...  
Отвлёкся... А куда спешить?*

*У нас, семидесятилетних  
 Степенный шаг... А, впрочем, жить  
 Всем хочется. Тому примером  
 Мадам с увядшим кавалером,  
 Идущие навстречу мне.  
 По восемьдесят им. Во сне  
 Такое вряд ли вам приснится:  
 Не пропуская ни денька  
 Идут рядком, в руке рука.  
 Спешат они соединиться  
 С подобными себе. Тайком  
 Поговорить о том, о сём:*

*О том, что у подруги близкой  
 На кухне грязное окно,  
 Что верхнюю соседку тискал  
 Мужик, который здесь давно  
 Известен, как ходок отменный  
 И недруг верных жён надменных,  
 При этом сорок лет женат,  
 Детей имеет и внучат...  
 Что надо бы пройти бесплатно  
 На симфонический концерт.  
 Там будет лакомый десерт...  
 К тому же свёрток аккуратный  
 С едой на вынос вам дадут.  
 Все будут сыты — там и тут!*

Тут явно в мой огород, я этим не горжусь, а принимаю со смирением. Если бы мне кто-либо сказал двадцать лет назад, что выходя на пенсию ещё можно с большим удовольствием играть в эти игры, я бы засмеял, зашикал говорящего. Когда мой коллега в сорок пять лет влюбился в свою лаборантку и стал буквально сходить с ума, мой любимый друг и очень талантливый человек Сашка Сергеев сказал:

— В эти годы пора уже о вечном думать!

И я с ним согласился вполне. Но что мы знаем о своём будущем? Булгаков прав, хотя сама мысль до тошноты примитивна, по силе любому дураку. Не зря говорят: если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так о чём же шёл разговор между эмигрантами? — Давай послушаем:

*Что презентация поэта  
На днях. Советуют пойти.  
Там мило. Комната согрета,  
Вино, конфеты-ассорти...  
А завтра похороны будут.  
День этот долго не забудут —  
До следующих похорон.  
Притащится со всех сторон  
Шумливого народу масса.  
Из них покойника не знал  
Почти никто, но полон зал!  
Но завтра, как предлог, удастся  
Дублёнку новую надеть  
И этим нос всем у-те-реть!*

Как-то так сложилось, что я всегда чем-нибудь болел. Сейчас я вспоминаю, как ты перешла работать в детскую инфекционную больницу, и как-то так получилось, что я стал регулярно болеть то свинкой, то желтухой, то скарлатиной. У меня есть подозрение, что это связано с твоей непрофессиональностью в том смысле, что ты плохо усвоила основы санитарии и гигиены. Потом я, несмотря на болезни, всё-таки вырос и стал студентом. После первого курса я уехал на три месяца на целину и вернулся с жестоким расстройством пищеварения и, как следствие, с очень болезненным, запущенным геморроем. И это в восемнадцать лет! Ты почему-то стеснялась этой моей болезни, словно я подхватил гонорею. А я в эти годы был робкий девственник, лишь мечтавший о девичьей нежности.

Как чудесно изменились наши отношения, когда ты уехала к моей сестре в Аугсбург! Раз в два года ты навещала нас и привозила разные деликатесы, а мне однажды привезла чудесный серый зонтик, которым я пользовался лет пять и даже увёз в Штаты, где однажды оставил по рассеянности в общественном туалете. Ты приезжала, и мы с удовольствием ходили по вновь открывшимся магазинам. Вместо вонючего гастронома, где я сражался с другими стариками за пачку двадцатидвухкопеечного творога, после капитального ремонта открылся новый магазин, изобилующий импортной молочной и мясной продукцией, винами и коньяками, чисто вымытыми овощами и свежими фруктами. Даже наша отечественная водка, представленная несколькими сортами, стала выглядеть на этом фоне вполне импозантно. Приехавший из США брат жены сказал, что теперь мы уже немного напоминаем Европу по качеству продаваемых товаров и числу элегантных легковых машин, то и дело мелькавших между коробчатыми и сильно воняющими недогоревшим бензином *Жигулями* и *Москвичами*.

Наверное, я был патриотом-москвичом, потому что даже не задумывался об отъезде. Как можно уезжать из родной страны, в которой теперь всё есть, а очередей нет! Мои шесть сотен долларов в месяц кружили мне голову. После дефолта 1998 моя зарплата упала вдвое, но и на триста долларов ещё можно было неплохо жить, если не покупать новые вещи. Оптовый продуктовый рынок был в двух остановках метро. Я брал рюкзак и отправлялся на охоту. Красной икры было столько, что можно было ею смазывать сапоги, а ведь раньше, при коммунистах, давали к празднику одну крохотную баночку на десять человек. И гречневой крупы никогда не было на прилавке. Её крохи предназначались диабетикам.

Так бы я и сидел сегодня и снова, как в начале карьеры, пересчитывал обесцененные русские рублишки образца 2018 года, если бы твой внук почти двадцать лет назад не потребовал срочно выметаться из России, чтобы помочь ему

с детьми встать на ноги в нормальной стране с нормальной валютой и нормальным отношением государства к человеку.

В день моего семидесятилетия ты позвонила мне и глухим, но энергичным голосом поздравила с юбилеем и сказала, что это ещё не возраст, что надо работать и радоваться жизни, не обращая излишнего внимания на болезни. Не нить! А я-то знал, какие муки испытываешь ты, особенно по ночам, когда у тебя сводит судорогой мышцы ног. И вот, прошло ещё четыре года, и тебя не стало. Но письмо моё не окончено. И я его продолжаю с надеждой, что рукописи действительно не горят и могут быть прочтены:

*Прошло ещё четыре года,  
И снова осень, господа.  
Меняется погода, мода,  
Шумят большие города,  
А океан твердит уныло:  
Уже всё было, было, было...  
И кажется порою мне,  
Что я согласен с ним вполне.  
А как же люди, что в округе?  
Всё так же занимает вас,  
Наверное, в трехсотый раз  
Прочистить косточки подруге.  
Так было, есть и будет впрямь  
С тем, кто попался в эту сеть.*

*Порадовать сегодня трудно  
Сей кулуарной суеты  
Любителей... За кем-то судно  
Выносят бодро медбрата́,  
А кто-то ничего не слышит  
Иль через трубку тяжко дышит.  
Стареет, чахнет эмигрант,  
Смакует антидепрессант.*

*Я тоже, должен вам признаться,  
Таблетки очень полюбил,  
Заботливо их разложил  
В коробочках. Цвета разнятся...  
Съедай хоть целый килограмм —  
Их выдают бесплатно нам!*

*В моих недавних откровеньях  
Играл я строчкою лихой.  
Я не люблю в толпе вращенье,  
Я не такой — совсем другой.  
И лучше я, и поумнее.  
Короче, я из тех евреев,  
Кто нашим братьям не еврей.  
Из инородцев я скорей.  
За то прослыл антисемитом.  
А не владеющий ивритом  
Хотя и хочет растоптать,  
Но только матом обругать  
Способен. Очень плохо там  
Учили разным языкам.*

Действительно, я однажды получил на рынке «антисемита». Я зашёл туда из любопытства. Там фермеры продают свой товар, и государство поощряет их и даже разрешает продавать продукты на фудстэмпы по льготной цене. Вот там ко мне подходит развязный тип, кивает мне, как знакомому, и говорит:

— Жалко, что у меня нет фудстэмпов, я бы мёда купил у них большую банку. Мёд у них очень хорош!

Я ему отвечаю, что не вижу проблемы. Доставай доллары и покупай. И этот *поц* мне так нагло говорит:

— Головой соображать надо! Головой, а не задницей! На фудстэмпы мёд вдвое дешевле!

И это он мне, доктору наук и профессору, хотя и бывшему. Кровь бросилась мне в оскорблённую голову, и я заорал:

— Пшел вон отсюда, урод!

Наверное, в моих глазах было столько ненависти, что он бросился бежать, но потом опомнился, остановился и крикнул:

— Антисемит!!!

Это столкновение с неизбежностью было зафиксировано тёршимися на рынке евреями и обсуждено, и мне был вынесен вердикт, что я антисемит. А может быть, они отчасти и правы?..

Знаешь?— Когда Джойнт приглашал нас в Страну Равенства, местные евреи, создавшие вместе с другими народами эту Страну, рассчитывали, что мы, советские евреи, вольёмся в этот мировой плавильный котёл и станем такими же свободными, открытыми и верующими в Бога. (Вся Америка от океана до океана верит в Бога). Правильнее: *упоает на Бога*, если перевести то, что отчеканено на монетах США. Но не тут-то было. Советские евреи оказались абсолютно безразличными к еврейской традиции, а если кто и начал посещать синагогу, то быстро оставил это занятие, поскольку служба шла на английском языке в лучшем случае, не говоря уж об иврите.

Я сам присутствовал на богослужении только один раз и пошёл туда только ради племянника жены, который к тому времени свободно общался на английском. Я чувствовал себя страшно неловко. Не понимая ни аза, я кривлялся, как обезьяна. Брал в руки молитвенник, вставал вместе со всеми, и, тупо уставясь в мелкий незнакомый текст, изображал, что я читаю. Время от времени молящиеся вскрикивали хором вслед за раввином, я же молчал и испытывал жгучий стыд за своё кривлянье.

Совковые эмигранты, они все, включая и меня, кривлялись, изображая веру, которой не было. И я возненавидел их всех за фарисейство, за то, что некоторые из них возжигают субботние свечи, не зная слова Бог на иврите. Когда племянник трагически погиб, я пошёл в синагогу во второй и последний раз в жизни с его родителями, и раввин выдал нам

на отпевание текст, напечатанный русскими буквами. Представляешь, мама, поминальная молитва на иврите и написанная русскими буквами? Я навсегда запомнил эти листы с молитвой, на которых блестели масляные пятна, потому что по дороге раввин ухватил бутерброд и, перепачкав руки, сунул их в копировальную машину.

Вот я стою на берегу реки времени и вспоминаю своих друзей. Мишка уже давно ушёл, пятнадцать лет назад. Ушёл со своим идеалом мужской дружбы, который, как и всякий идеал, нереален. Он меня называл самым большим другом, а я бросил его и уехал с семьёй в США. А Сашка Сергеев просто запретил мне его тревожить. Он, пережив онкологическую операцию, просто устал, наверное, от жизни. Я через знакомых узнаю, жив он или уже нет. При нём русская жена, которую он вывез в Израиль, и сын-программист, который ни в грош не ставит отца ещё с седьмого класса в России и презрительно величает *«нашим несостоявшимся гением»*, а раньше на вопрос Сашки, как идёт учёба, он отвечал кратко и грубо, чтобы тот шёл в ж... Ещё один друг Сашка Соколовский. Как я мечтал с ним подружиться ещё на первом курсе! Какой он был элегантный, подтянутый, красивый! Ты мама ведь прекрасно их помнишь, не так ли? Сколько часов на днях рождения и разных праздниках мы провели за одним столом. Как спорили о судьбах мира и России. Ты всегда была к нам в оппозиции заодно с папой. О, вы были жуткими ретроградами. Ты часто говорила в споре:

— Посмотрите на них! Всё! Всё им не нравится! Живут в отдельных квартирах, получили бесплатно высшее образование, пользуются бесплатной медициной и всё время недовольны! А что вы сделали для общества? Кому вы помогли?

Мы им говорили об ужасе лагерей, о страшных потерях на войне, но они не слышали. Партия знает, куда рулить.

Но я хотел тебе сказать совсем не о наших политических спорах. В отличие от меня возле тебя вечно крутилась группа людей переменного состава, которых ты называла *друзьями*

и которые нередко оказывались за семейным праздничным столом. Меня это бесило, потому что многие из них были откровенными партийными суками с высочайшим мнением о собственной персоне. Я ненавидел их покровительственные взгляды и часто спрашивал тебя, зачем ты с ними водишь хороводы. Проходило немного времени, и эти друзья исчезали из поля зрения, но на их место приходила очередная тётка из горторга или косноязычный чиновник, с трудом окончивший педвуз. Что-то им нужно было от тебя, а тебе от них.

Ну, ладно. Переменим тему. Здесь в США выяснилось, что все мы несостоявшиеся писатели и поэты, а это люди крайне завистливые и зловердные, особенно поэты. Об этом ещё Лев Толстой писал. Вот я и продолжаю своё письмо стихами. Как ты помнишь, там, то есть на родине, нас очень плохо обучали иностранным языкам, а русским буквам научили:

*А буквам русским научили!  
Теперь их пишут все подряд!  
Стихи, рассказы, водевили  
В библиотеках в ряд стоят.  
Они и раньше их писали,  
Но лишь соседи их читали.  
А я забыл, что я — другой,  
Хожу дорогою иной:  
Мне тоже страсть писать охота.  
Печатаю за томом том,  
Заполнил книгами весь дом.  
Работа до седьмого пота.  
Я — Пастернак иль Сельдерей!  
Дороже книжки нет своей.*

*О чём же пишут эмигранты  
В стране поистине чужой?  
И почему свои таланты*

*Они скрывали раньше в той  
Стране врачей и инженеров,  
Учителей и пионеров?  
Прорезался у них сейчас  
Воспоминаний тяжких глас.  
И все читать уже устали  
Одно и то же. Видит Бог.  
Кто ехать мог, а кто не мог,  
Кого пускали-не-пускали...  
И как их прадед был умен,  
И как в прабабку был влюблён.*

*Но это всё неинтересно  
В сравненьи с главной темой их.  
Оно звучит здесь повсеместно.  
Все повторяют словно стих,  
Что ось истории — евреи!  
И я от этого зверею...  
И как в былые времена  
Ищу подругу... где она?  
Любая! Здесь мне всё постыло!  
Согрей меня и будь со мной.  
А океан шумит волной:  
Уже всё было, было, было...  
И кажется порою мне,  
Что я согласен с ним вполне.*

Как это говорится — у сапожника все дети босые ходят? А у врачей по аналогии дети все время болеют. То ли генетика виновата, то ли грязное и вшивое военное и послевоенное время, а из удобств у нас было только кран с холодной водой на кухне на всех соседей и, слава Богу, уборная с проточной водой. Как сейчас помню ржавую цепочку с фаянсовой ручкой, на которой было написано «потянуть». А если заглянуть под раковину на кухне, можно увидеть в дырочку все голые попы и письки соседей и родственников. Да, так

вот, о здоровье. На последнем году аспирантуры я с крупозным воспалением лёгких слёг и долго не мог встать, потому что твои коллеги-врачи искали антибиотик, который бы мне помог. А ты не хотела класть меня в больницу, потому что боялась (и не без основания), что меня там упустят. Температура у меня держалась около сорока, но я не испытывал страха и даже не ощущал недостатка в кислороде. Ты делала мне укол пенициллина и убегала плакать на кухню на плече у папы. Наконец нашли моего спасителя. Этот был эритромицин, который быстро поставил меня на ноги. Наверное, в моём теле с детства сидел какой-то дефект, который назывался *locus minoris resistentus*. Из-за него я болел лёгкими раз десять в своей жизни. Теперь, когда разрешили заниматься генетикой, многое стало ясно многим. Вот ты, к примеру, в конце жизни очень часто болела бронхитами и воспалениями лёгких. Конечно, современные антибиотики о-го-го! И они тебя вытаскивали с того света много раз. И сестра твоя Лиза тоже болела хроническим бронхитом...

Я, когда прихожу к своему *праймери* доктору в нашем городишке, всегда с уважением смотрю на свою объёмистую папку с историями моих болезней. Не каждый имеет такое развесистое жизнеописание, не каждый...

Какая ты была чудесная врачиха! Ты ведь сдала дополнительный экзамен и стала отоларингологом, когда мне было лет девять-десять. И правильно. Чем таскаться по палатам с разной заразой в инфекционной больнице, лучше сидеть в отдельном кабинете с красивой маской на лице и смотреть в нос, ухо и горло пациента. Как я любовался всегда набором изящных стальных инструментов, которыми ты мастерски владела. Прокол гайморовых пазух? — пожалуйста! Прижигание носовых раковин пиоцидом? — пожалуйста! Удаление аденоидов с помощью стальной гитарной струны? — пожалуйста! И так далее, и так далее.

Раз в год ты приходила ко мне с отчётом о проделанной работе и я печатал его на портативной трофейной машинке. Там было штук тридцать разных операций, и каждая

повторялась много-много раз разным людям. Какие всё-таки нездоровые люди были в СССР в те годы!

Как странно мы проживали нашу жизнь... Мы могли за праздничным столом начать политические споры и дойти до прямых оскорблений друг друга. Неужели все эти лидеры-кровопийцы и жулики заслуживали, чтобы мы из-за них ссорились? Сейчас мне об этом и вспоминать стыдно.

Но я задумал это письмо тебе, чтобы рассказать о своей нынешней жизни. Это интереснее, чем вспоминать средневековое существование в СССР. О чём говорят мужики, не отягчённые комплексом неполноценности? — правильно, о бабах. Вот мы о них и поговорим:

*Легко сказать «ищу подругу»...  
Вам доводилось ли узнать  
Сомнений этих тяжких вьюгу,  
Когда давно не двадцать пять,  
Когда уже ты знаешь женщин  
И доброты в них видишь меньше,  
Чем недостатков, в тыщу раз,  
А злость и хитрость ловят вас  
И на работе, и в квартире,  
И в ресторане за столом,  
И жизнь такая день за днём  
Лишь с передышкою в сортире.  
Пусть лучше, право, вас убьют,  
Чем посмеются и сомнут.*

*Про женщин многие писали  
Изящной прозой и в стихах.  
Пороки их благословляли  
Иль обвиняли их в грехах.  
Везде по-разному любили,  
По-разному с ума сходили.  
Известно только лишь одно:*

*Кому-то счастье суждено,  
А кто-то мается годами,  
Меняет страны, города,  
Жён и любовниц... Господа!  
Что делают все бабы с нами!  
Куда почётней труд любой,  
Но что поделаешь с собой?*

*Итак, ищу... Ищу подругу!  
«Любую!» — год назад писал.  
О! Видно я в часы досуга  
Не то лукавил или лгал.  
«Любая» в молодости дерзкой  
Ласкает нас с улыбкой детской,  
С простой игривостью очей,  
И ты готов быть вечно с ней.  
А нынче? — Ну с какой «любою»  
Я смог бы время проводить?  
О чём с «любою» говорить?  
Куда позвать её с собою?  
С «любою» иль с «любым», увы  
Не стерпитесь под старость вы.*

Как ты понимаешь, любовная тема самая завлекательная. На ней построены все романы, как в жизни, так и в литературе. Когда человек не занят разумной деятельностью, как Евгений Онегин, любовные игры становятся главным смыслом его жизни. Он, правда, по-французски совершенно мог изъясняться и писал, а мы, старые дураки, почти двадцать лет в Америке и говорить-понимать-писать по-английски не можем. А если ещё есть порох в пороховницах, то ощущаем себя вполне полноценными, хотя, может быть, и зря. Итак, снова о женщинах:

*В годах преклонных ошибиться  
Боишься в выборе своём.*

*Вокруг шикарные девицы,  
Но думать надо о другом.  
Ну не совсем, чтоб о старушке  
Мечтать, уткнувшись лбом в подушку,  
Но чтоб могла увлечь собой.  
Ведь сам-то я старик лихой!  
Люблю и водочку откушать,  
Желательно, чтоб вместе с ней.  
И чтобы ей, душе моей,  
Хотелось про науку слушать,  
Чтоб в шахматы могла играть  
И кубик Рубика собрать.*

А что тут особенного? Вон, Вера, жена Набокова, играла с ним в шахматы. Всё же любопытно, какие их связывали отношения. Он был благородных кровей, аристократ, а она из простых еврейских девушек, хотя и с образованием. Она его, наверное, холила и лелеяла, следила, чтобы он хорошо питался и ходил чистым и выглаженным. Подыгрывала ему в его симпатиях и антипатиях и прочее.

Насчёт кубика Рубика я так, для красного словца, хотя в Интернете есть все формулы, по которым можно такие разнообразие симметричные узоры сыграть на кубике, — просто загляденье! Сам пробовал и не раз. Но разреши покончить с этой вязкой темой:

*Ещё хотелось бы конечно,  
Чтобы любила помолчать —  
От дам с обильным красноречьем  
Обычно хочется сбежать.  
О, старческие выкрутасы!  
Подобных требований массу  
Легко могу я перечесть.  
Эх, если б раньше мог учесть  
Все эти минусы и плюсы  
И не бежал бы за любой,*

*Обдумывал бы выбор свой.  
Не так, как там великоруссы  
На тех же граблях, как один.  
Солист им нужен из грузин!*

*И грандиозная идея  
Пришла сегодня мне на ум,  
Когда гулял среди евреев  
Под вечный океана шум.  
Ведь существуют же газеты,  
Где кроме сплетён и советов  
Есть очень важный матерьял,  
Который многим помогал.  
Используя газет услугу,  
Я объявление написал:  
«Я одинокий, я устал.  
Я так давно ищю подругу,  
Чтоб в шахматы могла играть  
И кубик Рубика собрать».*

Честное слово даю тебе, что в этих строчках-размышлениях я вполне искренен.

— А как же твоя законная половина? — могла бы ты спросить меня, когда я навещал тебя в Баварии. Но ты не спросила. Что-то тебе подсказывало, что тут очень тонкая материя и лучше в эту паутину не лезть. Пусть сам выбирается. Ох, какая ты мудрая, мама моя. Я ведь не бабу искал, а покоя, спокойного существования. Мои домашние всё ждали, что я в своих недомоганиях, тоске заскулю и приползу к ним с повинной головою.

Оказалось, что одиночество — это роскошь при условии, что у тебя всё есть и потому ничего ни от кого не нужно. Твои отношения с людьми теперь строятся на совсем других, я бы сказал, альтруистических принципах. Ты волен одарить своим вниманием и поддержкой любого, кто тебе симпатичен,

и можешь проявлять сколько угодно холодность или безразличие по отношению к тем, кто тебе неинтересен или неприятен. Не соблюдать никаких условностей! Презирать суету! Могу сказать, что за мои грехи я готов нести наказание, но не от вас, черви земные, а от Всевышнего. Пусть Он решает!

*Газеты, письма, объявления —  
 В пустяк уходит жизни пыл,  
 А прошлое, как сновиденье:  
 Зачем на свете столько жил?  
 Чем старше становлюсь, тем злее.  
 Ведь даже серый волк добреет,  
 Увидя в тучах солнца луч.  
 А я ищу пропавший ключ  
 И в бешенстве себе не рад.  
 Ругаю дом, ругаю сад  
 И, примостив свой тощий зад,  
 Ищу на ком сорвать бы злость.  
 Так пёс с рычаньем гложет кость.*

Поймёшь ли ты меня? Когда-то, давным-давно, я защитил докторскую диссертацию, потом стал профессором, но этот внешний успех не сделал меня заносчивым, хотя ты говорила, что твоя дочка — это твоя радость, а я — твоя гордость. А чего мне лгать перед самим собой и перед тобой? Сейчас, подводя итог, я вижу, что двигал науку куда-то вбок, а не вперёд. Я ничего не построил, никому по большому счёту не помог, а сотню публикаций неумолимое время смыло, как волна смывает следы на песке. За твоей жизнью сотни излеченных людей и их благодарность. Папа руководил заводом, выпускающим угледобывающие машины, пусть не очень совершенные, но делающие своё дело. А удержать своё имя в науке — неисполнимая мечта. Это удел единиц из многих тысяч. Я тут полез в Интернет посмотреть, каких успехов добился мой шеф. Он старше меня на шесть лет. Ну, он член-корреспондент нашей академии наук, то-сё. Стал

я смотреть, какие работы он ставит себе в заслугу, и обнаружил, что в числе первых он поставил наши с ним попытки объяснить свойства сложных органических соединений путём моделирования их методами квантовой химии. А я-то знаю, что этим работам грош цена, что химики-синтетики сегодняшнего дня никогда не станут читать эту ахинею. Вот и ушёл весь мой пар в свисток. Да и авторскими свидетельствами моими и рационализаторскими предложениями так никто и не заинтересовался по-серьёзному. И с чего, скажи, мне теперь быть добреньким, когда я сам свою пустоту ненавижу, а когда кто-то распускает хвост по поводу того, что он был начальником отдела, я его сожрать готов.

Завидую ли я? Конечно. Особенно тем из своих знакомых, у которых дети пошли дальше отцов. Вот, к примеру, Яша. Ты его не знаешь, он у меня дома бывал, когда играли в преферанс. Боже! Сколько часов потратили на дурацкую игру! Это такие глыбы времени, что можно было бы успеть вторую специальность получить. Так вот, у него два парня. Один — крепкий биохимик. Работает в Йельском университете. Второй — математик. Работает на фирме в Лондоне. А мой отпрыск — инструктор по вождению. Уж лучше выучился бы на сантехника. У нас они зарабатывают по сто тысяч в год и даже больше.

Разумеется, завидую я и молодым, входящим в жизнь, в науку, потому что возможности исследований с применением компьютерных технологий расширились неимоверно. Я для них — окаменелость. Как бы это сказать стихами, чтобы тебя развеселить?

*Читатель прав, ему виднее,  
Он молод. Я ему в отцы...  
Да что в отцы, в деды скорее  
Гожусь. Счастливые юнцы!  
Какое время ухватили!  
Над нашим веком воспарили  
И в свой уверенно вошли.*

*Свободу сладкую внесли  
И пользуются ею смело,  
Все наши «мудрости» презрев  
Об осторожности. У дев  
Красиво, ловко и умело  
Всё ладится, всё по уму,  
И муж им вроде ни к чему.*

*С учёным грозным мужем скучно,  
С весёлым — некогда шутить.  
Всё сделать им самим сподручней,  
Чем ждать его или просить.  
У женщины быстрее, проворней  
Движенья и мозги просторней.  
А что касается детей,  
То это можно без затей,  
Без свадеб, без цветов, без кружев  
Прodelать быстро без потерь,  
Закрыв на всякий случай дверь  
От злых, завистливых подружек.  
Мужчина каждый божий день  
Доступен всем, кому не лень.*

Когда живёшь долго, привыкаешь к каждодневному открытию, что возможности человека уже с малых лет таковы, что скоро начнут преподавать курс высшей математики в детском саду. Тут один знакомый, профессионал-шахматист рассказывал, как он участвовал в турнире с одной двенадцатилетней китайкой, мастером спорта. Он поразился столь рано развитому мышлению. Ему удалось выиграть, но девочка поняла, что проиграла ходов за шесть до окончания партии.

Когда мы жили в СССР, мы мечтали о свободной жизни и думали, что вот, если бы мы по волшебству оказались здесь, как бы мы наполненно, полноценно прожили жизнь, сколько бы открытий совершили! Приехав сюда, я обнаружил, что в колледже, где я помогал отстающим студентам,

подавляющее большинство гораздо хуже образованны, чем в СССР, не умеют мыслить логически и даже не могут без калькулятора помножить двадцать на десять. Так что дело не во внешней свободе. Истинная свобода всегда внутри. А борьба с властью, которая всегда жуликовата, жестока и бездарна и здесь, и там, есть самое неблагоприятное занятие. СССР рассыпался не из-за протестов инакомыслящих, а из-за смертельной болезни, называемой «социализм», которая разрушила до нуля его экономику. Сама система оказалась нежизнеспособной. Этой болезнью может заразиться и вполне здоровое и конкурентоспособное капиталистическое общество, если к власти придёт очередной социалист типа Чавеса в Венесуэле или Альенде в Чили.

Да я понимаю, понимаю, что тебе это совершенно не интересно.

*Ушёл от темы я куда-то...  
Свои у памяти пути.  
Узор стихов витиеватый  
Увёл. Начала не найти.  
Обрывки фраз, воспоминанья,  
Былые радости, свиданья...  
А! Вспомнил! Женщину искал!  
Метался, мучился, страдал.  
Читатель хмыкнет: «Слишком смело  
Затеять эту ерунду  
На семьдесят седьмом году.  
Найти бы вам спокойней дело.  
Вот, скажем, марки собирать  
Иль с внуком в домино играть,*

*Писать романы-эпопеи  
О том, что ты и он, и я —  
Потомки древней Иудеи,  
И, значит, все мы здесь — семья.  
В романе этом попытаться*

*В судьбе героя разобраться:  
Кем были предки, где бывал,  
Что ел, что пил и что читал.  
Какой наукой увлекался,  
Какую музыку любил,  
Куда с подругами ходил,  
Какому Богу поклонялся,  
Как относился он к деньгам —  
Любил? Сорил? Дарил друзьям?*

*Как относился он к животным?  
Любил собак? Мог с ними спать,  
Часами по местам болотным  
Бродить, а после шерсть чесать?  
Дружил с соседями по дому,  
Кивал им, как коту родному  
Иль ненавидел их, как класс,  
И мог ударить промеж глаз?  
В романе должно быть убийству,  
Фантастики совсем чуть-чуть,  
Чтоб не охватывала жуть  
И не дошло до кровопийства.  
Вот, если выполнить сей план,  
Убойным будет ваш роман.*

Знаешь, почему Фауст не был ввергнут в ад? Он был одержим деятельностью, работой. И Бог простил его грехи и то, что он продал душу чёрту. Бог сам есть великий работник и прощает тех, кто одержим идеей созидания.

Всегда. До последнего дня. До последней минуты творить, решать, выдумывать, строить, синтезировать, анализировать, искать!

На десерт последнее признание: эти стихи сочинила когда-то моя замечательная подруга, а я их собрал в букет, чтобы преподнести тебе.

## О том как мы сами создаём фетиш

**В САМОМ НАЧАЛЕ Я ПРИВЕДУ ОТРЫВОК ИЗ ОДНОГО** моего рассказа, где два персонажа дискутируют о нескольких стихотворениях Пастернака. Сам я люблю Бориса Леонидовича и помню, как всюду таскал томик из малой серии *Библиотеки поэта*, всё читал и не мог начитаться. Однако некоторые стихи мне совершенно не нравились, и я не понимал, как такой Поэт мог, словно на скорую руку, испечь подобный «шедевр». Ещё более меня удивляло, что именно этот шедевр чуть ли не со слезами на глазах цитируют настоящие мастера, как, скажем, Фазиль Искандер... Но передадим слово моим персонажам.

...В следующее воскресенье Белкин стоял со своим товаром рядом Николаем и его знакомым Олегом Левиным. У них знакомство тоже было рыночным. Олег недавно защитил докторскую диссертацию и раздувался от самоуважения. Обстановка блошиного рынка ничуть ему не мешала. Казалось, он знал всё и про всё. Увидев среди принесённых Белкиным книг томик Пастернака, изданный в Ашхабаде, он пролистал его с пренебрежением и изрёк:

— В судьбе Пастернака больше трагизма, чем во всём его творчестве. Да и сам он не тянет на великого поэта, потому что глуповат. Хотя, кто-то сказал и, может быть, совершенно правильно, что поэзия должна быть глуповата...

— Пушкин это сказал. Что же вы нашли у него глупого? Да и читали ли вы его достаточно внимательно? — спросил Белкин.

— Ну, хорошо, — снизошёл Олег. — Вот вам знаменитое стихотворение «Быть знаменитым некрасиво...». Знакомо оно вам?

— Ещё бы! Это шедевр!

— Не надо эмоций.— Олег поморщился.— Начнём с ложной посылки в самой первой строке. Так как я горячий поклонник Пушкина, то сразу заявляю: быть знаменитым — красиво! «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Дальше. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Чувствуете, где ударение — *пíсьями*, да-да, неблагозвучное «*пíсьями*». А потом начинаются бесконечные «*но*». Три раза в одном небольшом стихотворении звучит «*но*». А как вам — *должен ни единой долькой не отрекаться от лица*. Лицо — это что? Мандарин с дольками? А перед этим — *но пораженья от победы ты сам не должен отличать*. Должен — не должен, это, по-вашему, уровень? *Но должен жить без самозванства...* Нет такого явления, которое называется самозванством в русском языке. Есть пустозвонство, но оно не рифмуется с пространством, вот он и использует исковерканное по смыслу слово.

— Есть такое слово. Я даже читал книгу под названием «Самозванство на Руси».

— Нет такого слова. Правильно сказать — «Самозванцы на Руси».

— И лицо здесь имеет не смысл физиономии, а другой, высокий смысл, не отрекаться от себя, своей сущности.

— А как вам «и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать ни зги»? Неужели вы не видите полного идиотизма словоблудия? Если так темно, что не видать ни зги, то при чём тут туман? Или если такой плотный туман, что не видать ни черта в пяти шагах, то при чём тут местность, которая находится, скажем, в полукилометре от вас? И надо ему было написать «...когда в нём не видать ни зги, то есть в тумане, а не в местности... Или дальше, во второй строфе употреблено слово *шумиха*, которое больше подходит для еврейской коммунальной кухни, чем для высокого стиха... *Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех*. Какое некрасивое деепричастие — *знача*! И в смысловом плане — бред: если не-

кто ничего не значит, то его никто и не знает и, стало быть, никак он быть *притчей на устах у всех* никак не может. И последнее — *Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь*. То есть, очень подробно, очень дотошно. И в результате биография мэтра составит увесистый том, и не один! Наверное, быть знаменитым всё-таки красиво, и просто формула фальшива.

— Не любите вы Пастернака. Слишком жёлчно судите. И несправедливо.

— Нет, я его люблю, но с открытыми глазами. Там, где он талантлив, я вижу и отмечаю. А когда он партачит, я злюсь, потому что поэт его уровня должен прорабатывать свой текст до кристальной ясности и чистоты. Смотрите, как он сделал «Гамлета». Там ведь невозможно понять, от чьего лица речь, то ли от принца датского, то ли от Христа, то ли от актёра. Но всё равно высокий посыл чувствуется. И вдруг: жизнь прожить — не поле перейти. Это кто же *прожил* жизнь? Гамлет? Христос? — Да они сожгли свою жизнь! Я сам неоднократно слышал, как эту фразу употребляют деревенские старушки, болтая на скамеечке.

— Я не специалист в поэзии и сужу только по своим ощущениям: нравится — не нравится. Пастернак мне нравится и мне неприятно, когда его ругают. Так что давайте мою книжицу и разойдёмся с миром, — сказал Андрей.

О Пастернаке столько написано, что мои две пары строк мало что изменят в отношении к нему читателей. Однако не всем захочется изучать толстенный том его биографии в исполнении Дмитрия Быкова. Вот один из фактов — Шаламов, вернувшись из лагерей, пошёл к нему показывать свои стихи. Значит считал его за мэтра. Правильно. И я так считаю. Мне непонятно лишь, почему столь известного мастера не включили ни в один из учебников «Родная речь»?! Его, которому не побрезговал звонить сам товарищ Сталин! Ну хоть бы одно-единственное стихотворение, скажем «Снег идёт, снег идёт...» Ну, просто шикарный стих и очень похож на другой, где «Зимний день в сквозном проёме...». Вы знаете,

вот это детское чувство радости от того, что дышишь и видишь мир вокруг. Так немногие смогли бы, единицы.

И вот это же детское чувство выплёскивается неудержимым потоком в рассказе о Рождестве. И опять зима. «Стояла зима...» Те, кто слышал этот стих в исполнении Д. Быкова, отметили, что он читал его со слезами на глазах. Я не стану искать ответ в размере стиха, мне всё равно это ямб или хорей, или дольник-шмольник. Если не обращать внимание на содержание, то действительно можно прослезиться. Но содержание!..

Где происходит действие? — В древней Иудее или в деревне под Вязьмой? Откуда там такое количество снега? Там и морозов практически не бывает. Откуда эта смесь горного и степного пейзажей. Откуда там пруд и оглобля, торчащая из снега? Какой-то топографический и географический дегенератизм! Сплошное враньё. Да, чувства там хоть отбавляй, но реалии хоть какие-нибудь должны быть? Или это неважно? Откуда там взялась толпа, которая попёрлась среди ночи к пещере, которую поэт назвал вертепом. Да, есть такое понятие, но в старинном словаре. А сейчас вертепом называют малоприличное место. И вершина стиха тоже насквозь ложная. Отнюдь не всё, далеко не всё пошло с момента рождения Младенца. Мавританская культура, Иудейская, Японская, Китайская, Индийская и другие, другие... Их праздники, их книги, их архитектура, их музыка... И, наконец, огромная, как океан, античная культура, древнеегипетская культура. А христианская культура просто одна из многих. И весь этот театр с Рождеством уходит корнями к Франциску Азисскому, к его первому кукольному театру, который потом нашёл своё продолжение в религиозном празднике по всей Европе. А отстающая от всего цивилизованного мира на два столетия Россия стала праздновать Рождество с наряжёнными ёлками по указу Петра Первого, который увидел это в Европе и решил, что это надо внедрить и в России.

Кстати, как же сильно различаются посмертные судьбы в мифах древних греков и христиан! У первых человек, про-

славившийся своими подвигами, способен присоединиться к кругу бессмертных богов. У христиан человек, презревший земное существование, тративший драгоценное земное время на бормотание молитв, только этим и заслуживает бессмертие души.

Но вернёмся к стиху. Что-то несуразное происходит с рождественской звездой. То она скромна, как плошка с фитилём в грязном окошке лачуги, то она начинает гореть, как стог соломы, а потом и целый хутор в огне. Начинаешь думать, что это не звезда, а комета... А по прихоти поэта всё на небе перерастает во вселенский пожар. А дальше идёт пересказ евангельского текста, про который устами Булгаковского Воланда сказано, что там сплошное враньё. Декорации — утёс, с которого смотрят спросонья пастухи... Откуда там утёс, если рядом степь, из которой дует ветер. А по степи идут три звездочёта с караваном, и ослы спускаются с горы...

И все мысли веков, все мечты, все миры с одной стороны, а с другой все ёлки на свете, которых в Иудее никогда не было, какие-то дурацкие яблоки и золотые шары, которые висят на ёлках, а между тем всё злей и свирепей дует ветер из степи. Единственное, что правильно, это то, что библейские сюжеты стали смысловой основой для создания великих картин и скульптур, но это прошло уже и сейчас — куда более интересные сюжеты из жизни и особенно фантастика куда богаче идеями, которые воплощают в кинофильмах. Ещё немного о Рождестве — светлом празднике. О мрачных веках папской инквизиции мы говорить не будем. О крестовых походах, ссорах между князьями церкви, о том, как они натравливают народы друг на друга, как воруют и грешат с малыми детьми не будем. Мы будем говорить только о хорошем. А в стихотворении — целое море хорошего!

...Ослы, верблюды, замёрзший пруд с ольхой, которая там никогда не росла, и грачиные гнёзда на ней. Народ там ходит в кожухах-дублёнках среди ночи, всё в снегу и ночь морозная, невидимые ангелы оставляют босые следы на снегу, хотя всё должно быть наоборот, то есть видимые ангелы не

оставляют следов, потому что они бестелесны. И следы ведут за невесть откуда взявшуюся хибарку...А толпа уже напоминает первомайскую демонстрацию. А собаки почему-то ждут беды и бредут с толпой. Ну, и наконец — ясли из дуба. Если бы из кедра или другого дерева, так нет — из дуба!

Такое впечатление, что стишок писал действительно не известный поэт, а доктор Живаго, который баловался стихами, не очень сверяясь со здравым смыслом, да ведь он писал их для себя, так что какая нам разница. Мы все пописываем стишки.

Всё познаётся в сравнении. Если взять знаменитое стихотворение Бродского «Сретенье», то сразу проникаешься возвышенным духом причастности к совершившемуся более двух тысяч лет назад. Это дух вечности, передаваемый самым совершённым образом, которым одарён гениальный Бродский. Вот так же мы, простые и неспособные, проникаемся духом вечности, когда слышим токкату и фугу *ре-минор* Баха. Поразительна слитность текста, в котором рифмуются фрагменты фраз, а образы Симеона и Анны словно сошли с росписей Сикстинской капеллы.

Признавая значимость Пастернака для российской поэзии, отдавая должное его таланту, я бы на месте рядового читателя не слишком идеализировал маэстро. У него есть подлинные шедевры, но есть и неудачные вещи. Влияние общего мнения на читателя очевидно — никто не хочет оказаться в положении дурака, который якобы не смыслит в поэзии ни аза. Эффект голого короля.

В качестве примера можно привести ситуацию с «Чёрным квадратом» Малевича. Несмотря на то, что Михаил Веллер зло высмеял «знатоков» живописи, которые по полчаса стояли перед этим «шедевром», изображая, что они-то его отлично понимают, число знатоков не уменьшилось. Не помогло и раскрытие тайны «Чёрного квадрата» путём послонного сканирования методом томографии. А тайна заключалась в следующем. Малевич увлёкся сюжетом женской бани, чем вызвал крайнее раздражение своей супруги. Проходя

мимо очередного варианта группы обнажённых тел, она не сдержалась и широко мазанула чёрной краской по картине. Не оставалось ничего другого, как замазать всё чёрным. Получившийся квадрат дал новую оригинальную мысль художнику. Так начался новый этап в европейской живописи — супрематизм, который оказался даже посильней кубизма. Тут опять же опрокидывается формула, что быть знаменитым некрасиво, потому что сам термин на латыни означает «высший», то есть высшая форма живописи. Малевич и Пушкин правы. («Великим быть желаю. Люблю России честь...»)

И Веллер тоже прав (как в том известном еврейском анекдоте) — если невозможно пройти вперёд в развитии искусства после ряда гениев, художник вынужден уводить искусство в сторону, пусть теряя в мастерстве, но зато создавая своё. Разрушать прекрасное и возводить уродливое, но продолжать творить новое любой ценой. Такова природа человека.

О вкусах не спорят. Это положение известно ещё со времён древнего Рима. Однако вкусы формируются, поэтому есть понятие тонкого вкуса, изысканного вкуса и грубого вкуса. Ещё на счастье и несчастье человечества существует разум и, следовательно, способность сравнивать, осмысливать, сопоставлять и так далее. Чтобы поставить точку в этом диалоге с читателем, я приведу небольшой отрывок из моей книжки «Продолжение разговора»

...В духе антитезы написан выдающийся сонет шестьдесят шестой Уильяма Шекспира. На мой взгляд, это самый сильный сонет в мире. Специалисты считают, что Б. Пастернак лучше перевёл сонеты, чем С. Маршак. Относительно всех сонетов это может быть и правильно, но 66-й неизмеримо лучше у Маршака. Пусть меня осудят за грубость, но почти половина строк сонета у Пастернака звучит или вяло, или даже глуповато. Судите сами: «И честь девичья катится ко дну...» — честь можно сохранить, честь можно потерять, но катиться она не может. У Маршака — «И девственность, поруганная грубо...». Далее: «И вспоминать, что мысли заткнут

рот...». Здесь глаголу *вспоминать* вообще нет места по смыслу. Можно знать, ощущать, но только не вспоминать, потому что речь идёт о настоящем, а не прошедшем. У Маршака — «И вдохновения зажатый рот...». Ещё один пример: «И доброты прислуживает злу...» — вяло и беспомощно. Сравните: «И праведность на службе у порока...» у Маршака. Читатель может сам пройти весь сонет строка за строкой и убедиться в полном превосходстве перевода Маршака.

Короче — и на солнце бывают пятна, и у Пушкина есть слабые стихи. Но мы с вами ведь умеем отличать высокое, почти недостижимое от среднего и даже не очень продуманного, не очень удачного, не так ли?

Идеализация какого бы то ни было субъекта или явления вообще характерно для человеческого сознания. Так были рождены все религиозные идеи. Так же возникают факиры на час — плоды нашего фетишизма. Нельзя сказать, что они возникают на пустом месте. Что-то происходит в вечно меняющемся мире, а мы приспосабливаемся таким образом, чтобы как-нибудь закрепиться, бросить якорь и оглядеться перед тем, как двинуться дальше по реке времени. Очередной фетиш появился в русской литературе совсем недавно и назван автором «Москва-Петушки». Позвольте опять, благосклонный читатель, привести вам ещё одну выдержку из моей книжки «Продолжение разговора».

...«Алису в Зазеркалье» я домучил из последних сил. Ничего не происходит, полная путаница, никакого остроумия. На английском, должно быть, это всё звучит иначе. Я уже говорил однажды, что у юмора короткий век. То, над чем смеялись пятьдесят лет назад, сегодня не смешно, а юмор другого народа — вообще может быть даже и мало понятен.

Позвонил я своему приятелю Яше, который великолепно владеет английским. Он ловит кайф от этой игры слов и стишков. Думается мне, скорее всего, ему просто очень приятно, что он всё-всё понимает.

Примерно такое же удовольствие получали, на мой взгляд, наши интеллигенты, когда читали Веню Ерофеева. Все намё-

ки, все аллюзии моментально угадывались теми, кто читал циркулирующие среди нас либерально-демократические книги. Все эти «фиги в кармане» мы знали наизусть. Автор заимствовал приём гиперболизации у Рабле и применил его к выпивке. Ну, уж если все намёки мы легко понимаем, значит, мы умные и разбираемся в литературе. Вот и нашёлся источник удовольствия, и все, задыхаясь от натужно вызванного смеха, наперебой цитируют ставшую знаменитой тетрадочку на сто страничек. А финал этой тетрадочки тоже позаимствован и знаете у кого? — У Гоголя в «Записках сумасшедшего». Белинский писал, что, мол, вы ещё смеётесь над ним... Мне лично этот рассказ никогда не казался смешным. Как может трагическое вызывать смех! А Быков однажды читал Веничку перед публикой и всем своим видом показывал, как это смешно — сколько раз герой был в Москве, да так и не нашёл, где там Кремль находится. Сколько я ни спрашивал своих знакомых и друзей, что апологеты нашли особенного в этом кривлянии, никто мне толком разъяснить не смог, но все отзывались об этой сатире весьма и весьма прохладно. Думается, что здесь повторяется ситуация с «Чёрным квадратом».

Кстати, я сейчас упомянул Гоголя. Помните битву Запорожских казаков с поляками? Это же потрясающий шарж на «Илиаду». А может быть, Гоголь вовсе не шутил? Может быть, он и впрямь рассматривал это сражение, как битву титанов... кто знает. Сейчас это выглядит смешно и чуток скучно, потому что времена изменились.

Опять же Ерофеев продолжил традицию русской литературы сочувствовать судьбе маленького человека. Вот, пьёт он, потому у него всё без просвета. Пьёт он и жалуется на власть и на жисть. Но заметьте, ведь он даже и не пробовал измениться к лучшему. Акакий Акакиевич ценой воздержания добился своей цели, но ему адски не повезло, а этот пролетарий? Да он при любом режиме, при любом раскладе останется тем же. Вы, сочувствуя ничтожеству, становитесь благороднее, лучше, не так ли? Не обманывайте себя. Только

не надо мне рассказывать о сверхзадачах; самым большим достоинством этой книжки является её краткость. И последней: не напоминает ли уважаемому читателю главный герой Хлестакова? Что бы он там не городил, какая-то легковесность присутствует в его речах, что может у некоторых лиц даже вызвать смех. Однако помните, что сказал о нем Горюхины: «Сосульку, тряпку принял за важного человека...» Так что не обольщайтесь его намеками на несправедливость мира.

Как бы ни были завлекательны лекции Дмитрия Быкова, дорогие читатели-ценители русской литературы, живите своим умом, руководствуйтесь вашим здравым смыслом, не то вы и в самом деле поверите, что грандиозная эпопея «Сто лет одиночества» была переписана с книжки «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Да знал ли Маркес русский язык? Или кто-нибудь перевёл ему эту книжку на испанский?





**Алик Толчинский** — москвич, по окончании МИТХТ занимался исследованиями в различных областях физической химии, доктор химических наук. Живет в Бостоне.

Печататься начал в конце 90-х годов. Автор нескольких сборников рассказов и повестей — «Мозаика жизни», «Окончательный вариант», «Два гения»; сборников эссе «Нонкомформист» и «Продолжение разговора» и других, изданных в 2004–2015 годах в Бостоне.



Рассказы А. Толчинского — своеобразные монологи, насыщенные искренними признаниями, размышлениями о превратностях и смысле жизни, богатые зоркими наблюдениями и сдобренные остроумием. Герои этих рассказов — преимущественно интеллектуалы, начитанные, мыслящие люди, нередко наделённые научными титулами или стремящиеся к ним, склонные к рефлексии и осмыслению своих трудов и дней. И судеб своих близких. Это даёт о себе знать даже в названиях рассказов: «Тётя Леночка», «Тётя Нинеля», «Настоящий друг», «Письмо» (адресованное умершей матери).

Горожане, погруженные в быт с его проблемами, каждодневными реальными заботами, кто занят повседневной суетой о даче («дача-дачурка»), кто ищет временную жилплощадь для утех («сексодром»), тем не менее все они в большей или меньшей мере стремятся не погрязнуть в быте, а воспарить над буднями. Не просто плыть по житейским волнам, а ощутить быт — как бытие. В калейдоскопе судеб — разглядеть суть и тайны человеческой природы, черты нравственной жизни общества. Именно эта особенность персонажей делает эти рассказы увлекательными, напоминая вдумчивому читателю, что хорошая литература — всегда ещё и человековедение.

*М. Хазин, писатель  
Бостон, МА*

ISBN 978-1-950319-02-2



9 781950 319022

**M-Graphics Publishing**

www.mgraphics-publishing.com  
info@mgraphics-publishing.com